



**ФОРУМ:
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ДЛЯ XXI ВЕКА:
ДОРОЖНАЯ КАРТА**

Сергей Николаевич Абашин

Европейский университет в Санкт-Петербурге
6/1А Гагаринская ул., Санкт-Петербург, Россия
sabashin@eu.spb.ru

Андрей Станиславович Адельфинский

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
5, стр. 1 Бауманская ул., Москва, Россия
adelfi@mail.ru

Михаил Дмитриевич Алексеевский

КБ Стрелка
14s5a Берсенеvская наб., Москва, Россия
alekseevsky@yandex.ru

Сергей Сергеевич Алымов

Институт этнологии и антропологии РАН
32А Ленинский пр., Москва, Россия
alymovs@mail.ru

Ольга Юрьевна Артемова

Институт этнологии и антропологии РАН
32А Ленинский пр., Москва, Россия
artemova.olga@list.ru

Дмитрий Александрович Баранов

Российский этнографический музей
4/1 Инженерная ул., Санкт-Петербург, Россия
Европейский университет в Санкт-Петербурге
6/1А Гагаринская ул., Санкт-Петербург, Россия
dmitry.baranov@list.ru

Варвара Юрьевна Бахолдина

Московский государственный университет
1, стр. 12 Ленинские горы, Москва, Россия
vbaholdina@mail.ru

Юрий Евгеньевич Березкин

Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН
3 Университетская наб., Санкт-Петербург, Россия
Европейский университет в Санкт-Петербурге
6/1А Гагаринская ул., Санкт-Петербург, Россия
berezkin1@gmail.com

Дмитрий Михайлович Бондаренко

Институт востоковедения РАН
12 ул. Рождественка, Москва, Россия
dmitrimb@mail.ru

Габриэла Варгас-Цетина

Автономный университет Юкатана
491А Парк Санта Люсия, Центро, Мерида, Юкатан, Мексика
gabriela.vargas@correo.uady.mx

Алексей Голубев

Хьюстонский университет
3553 Бульвар Каллен, Хьюстон, США
golubevalexei@gmail.com

Тим Ингольд

Абердинский университет
53 Колледж Баундз, Абердин, Великобритания
tim.ingold@abdn.ac.uk



Николай Николаевич Крадин

Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН
89 Пушкинская ул., Владивосток, Россия
kradin@mail.ru

Игорь Валерьевич Кузнецов

Институт языкознания РАН
1, стр. 1 Большой Кисловский пер., Москва, Россия
igorkuznet@gmail.com

Павел Сергеевич Куприянов

Институт этнологии и антропологии РАН
32А Ленинский пр., Москва, Россия
kuprianov-ps@yandex.ru

Екатерина Александровна Мельникова

Европейский университет в Санкт-Петербурге
6/1А Гагаринская ул., Санкт-Петербург, Россия
melek@eu.spb.ru

Филипп Пестей

Университет Западной Бретани
3 ул. Архивов, Брест, Франция
philippe.pestel@univ-brest.fr

Сергей Валерьевич Соколовский

Институт этнологии и антропологии РАН
32А Ленинский пр., Москва, Россия
SokolovskiSerg@gmail.com

Андрей Владимирович Туторский

Московский государственный университет
1, стр. 12 Ленинские горы, Москва, Россия
tutorski@mail.ru

Сергей Ушакин

Принстонский университет
116 Аарон Берр Холл, Принстон, США
oushakine@princeton.edu

Дмитрий Анатольевич Функ

Московский государственный лингвистический университет
38, стр. 1 ул. Остроженка, Москва, Россия
d_funk@iea.ras.ru

Ольга Борисовна Христофорова

Российский государственный гуманитарный университет
6 Миусская пл., Москва, Россия
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
82, стр. 1 пр. Вернадского, Москва, Россия
okhrist@yandex.ru

Алексей Сергеевич Щавелев

Институт всеобщей истории РАН
32А Ленинский пр., Москва, Россия
alexissorel@gmail.com

Татьяна Борисовна Щепанская

Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН
3 Университетская наб., Санкт-Петербург, Россия
poehaly@narod.ru

Аннотация: В этом «Форуме» речь идет об отношении к теориям и теоретическому знанию среди этнологов и антропологов. Отвечая на вопросы организаторов «Форума», его участники обсуждают необходимость общей «большой теории», которая бы объединяла все антропологическое сообщество, напряженные отношения между теорией и описанием, причины, проявления и эффекты усталости от теории и потребности в ней, ее недостатка и перепроизводства. В репликах отмечаются наиболее перспективные теоретические концепции (в частности, приводятся разные мнения о постантропоцентристском векторе в гуманитарных исследованиях). Авторы рассуждают о том, в какой степени «живучесть» теорий зависит от внешних и внутренних факторов, делаясь личным опытом и стратегиями обращения с теориями: их отбора, комбинации, трансформации и самостоятельного производства. Реплики участников



свидетельствуют о значительных различиях в подходах к пониманию сущности и функций теории в антропологии. Отчасти эти различия связаны с разным пониманием участниками предмета антропологии (как истории возникновения культуры и социума или их функционирования). Важным вопросом становится (не)возможность теории стать пространством общего разговора в антропологии. Надежды на реализацию этой возможности связываются с преодолением субъектно-объектной парадигмы, а препятствием для нее оказывается генеративная модель теоретизирования, предписывающая не работу с имеющимися концепциями, а порождение новых.

Ключевые слова: теории, теоретические построения, парадигмы, концепты, большие теории, этнология, этнография, антропология.

Для ссылок: Форум: Антропологические теории для XXI века: дорожная карта // Антропологический форум. 2025. № 64. С. 13–196.

doi: 10.31250/1815-8870-2025-21-64-13-196

URL: <http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/064/forum.pdf>

ANTROPOLOGICHESKIY FORUM, 2025, NO. 64

FORUM 64:

ANTHROPOLOGICAL THEORIES FOR THE TWENTY-FIRST CENTURY:

A ROAD MAP

Sergey Abashin

European University at St Petersburg
6/1A Gagarinskaya Str., St Petersburg, Russia
sabashin@eu.spb.ru

Andrey Adelfinskiy

Bauman Moscow State Technical University
5, Bld. 1 Baumanskaya Str., Moscow, Russia
adelfi@mail.ru

Mikhail Alekseevskiy

Strelka-KB
14s5a Bersenevskaya Emb., Moscow, Russia
alekseevsky@yandex.ru

Sergey Alymov

Institute of Ethnology and Anthropology, RAS
32A Leninskiy Ave., Moscow, Russia
alymovs@mail.ru

Olga Artemova

Institute of Ethnology and Anthropology, RAS
32A Leninskiy Ave., Moscow, Russia
artemova.olga@list.ru

Varvara Bakholdina

Lomonosov Moscow State University
1, Bld. 12 Leninskie gory, Moscow, Russia
vbaholdina@mail.ru

Dmitriy Baranov

Russian Ethnographic Museum
4/1 Inzhenernaya Str., St Petersburg, Russia
European University at St Petersburg
6/1A Gagarinskaya Str., St Petersburg, Russia
dmitry.baranov@list.ru

Yuri Berezkin

Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera), RAS
3 Universitetskaya Emb., St Petersburg, Russia
European University at St Petersburg
6/1A Gagarinskaya Str., St Petersburg, Russia
berezkin1@gmail.com

Dmitriy Bondarenko

Institute of Oriental Studies, RAS
12 Rozhdestvenka Str., Moscow, Russia
dmitrimb@mail.ru



Dmitriy Funk

Moscow State University of Linguistics
38, Bld. 1 Ostozhenka Str., Moscow, Russia
d_funk@iea.ras.ru

Aleksey Golubev

University of Houston
3553 Cullen Blvd, Houston, TX, USA
golubevalexei@gmail.com

Tim Ingold

University of Aberdeen
53 College Bounds, Aberdeen, UK (Scotland)
tim.ingold@abdn.ac.uk

Olga Khristoforova

Russian State University for Humanities
6 Miusskaya Sq., Moscow, Russia
Presidential Academy
82, Bld. 1 Vernadskogo Ave., Moscow, Russia
okhrist@yandex.ru

Nikolay Kradin

Institute of History, Archeology and Ethnography of the Peoples of the Far East,
RAS, Far East Department
89 Pushkinskaya Str., Vladivostok, Russia
kradin@mail.ru

Pavel Kupriyanov

Institute of Ethnology and Anthropology, RAS
32A Leninskiy Ave., Moscow, Russia
kuprianov-ps@yandex.ru

Igor Kuznetsov

Institute of Linguistics, RAS
1, Bld. 1 Bolshoy Kislovskiy Lane, Moscow, Russia
igorkuznet@gmail.com

Ekaterina Melnikova

European University at St Petersburg
6/1A Gagarinskaya Str., St Petersburg, Russia
melek@eu.spb.ru

Serguei Oushakine

Princeton University
116 Aaron Burr Hall, Princeton, NJ, USA
oushakine@princeton.edu

Philippe Pesteil

Université de Bretagne Occidentale
3 rue des Archives, Brest, France
philippe.pesteil@univ-brest.fr

Aleksey Shchavelev

Institute of World History, RAS
32A Leninskiy Ave., Moscow, Russia
alexissorel@gmail.com

Tatyana Shchepanskaya

Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera), RAS
3 Universitetskaya Emb., St Petersburg, Russia
poehaly@narod.ru

Sergey Sokolovskiy

Institute of Ethnology and Anthropology, RAS
32A Leninskiy Ave., Moscow, Russia
SokolovskiSerg@gmail.com



Andrey Tutorskiy

Lomonosov Moscow State University
1, Bld. 12 Leninskie gory, Moscow, Russia
tutorski@mail.ru

Gabriela Vargas-Cetina

Autonomous University of Yucatan
491A Parque Santa Lucia, Centro, Merida, Yucatan, Mexico
gabriela.vargas@correo.uady.mx

Abstract: This “Forum” considers attitudes towards theories and theoretical knowledge among ethnologists and anthropologists. Answering questions from the forum organisers, its participants discuss the need for a common “grand theory” that would unite the entire anthropological community, the tense relationship between theory and description, the causes, manifestations and effects of theory fatigue — and also the need for it, its shortage — and overproduction. The most promising theoretical concepts are noted in the responses (in particular, different opinions are given on the post-anthropocentric vector in humanitarian studies). The authors discuss the extent to which the “vitality” of theories depends on external and internal factors, share their personal experience and strategies for dealing with theories: their selection, combination, transformation and production. The responses of the participants reveal significant differences in approaches to understanding the essence and functions of theory in anthropology. In part, these differences are due to the different understanding of the subject of anthropology by the participants (as the history of the emergence of culture and society — or of their functioning). An important issue of the “Forum” is the (im)possibility of theory’s becoming a space for common conversation in anthropology. Hopes for the realization of this possibility are associated with overcoming the subject-object paradigm, and the obstacle to it is the generative model of theorising, which prescribes not working with existing concepts, but generating new ones.

Key words: theories, theoretical constructions, paradigms, concepts, grand theories, ethnology, ethnography, anthropology.

To cite: ‘Forum 64: Antropologicheskie teorii dlya XXI veka: dorozhnaya karta’ [Forum 64: Anthropological Theories for the Twenty-First Century: A Road Map], *Antropologicheskij forum*, 2025, no. 64, pp. 13–196.

doi: 10.31250/1815-8870-2025-21-64-13-196

URL: <http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/064/forum.pdf>



В форуме «Антропологические теории для XXI века: дорожная карта» приняли участие:

Сергей Николаевич Абашин (Европейский университет в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург, Россия)

Андрей Станиславович Адельфинский (Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия)

Михаил Дмитриевич Алексеевский (КБ Стрелка, Москва, Россия)

Сергей Сергеевич Алымов (Институт этнологии и антропологии РАН, Москва, Россия)

Ольга Юрьевна Артемова (Институт этнологии и антропологии РАН, Москва, Россия)

Дмитрий Александрович Баранов (Российский этнографический музей / Европейский университет в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург, Россия)

Варвара Юрьевна Бахолдина (Московский государственный университет, Москва, Россия)

Юрий Евгеньевич Березкин (Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН / Европейский университет в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург, Россия)

Дмитрий Михайлович Бондаренко (Институт востоковедения РАН, Москва, Россия)

Габриэла Варгас-Цетина (Автономный университет Юкатана, Юкатан, Мексика)

Алексей Голубев (Хьюстонский университет, Хьюстон, США)

Тим Ингольд (Абердинский университет, Абердин, Великобритания)

Николай Николаевич Крадин (Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, Владивосток, Россия)

Игорь Валерьевич Кузнецов (Институт языкознания РАН, Москва, Россия)

Павел Сергеевич Куприянов (Институт этнологии и антропологии РАН, Москва, Россия)

Екатерина Александровна Мельникова (Европейский университет в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург, Россия)

Филипп Пестей (Университет Западной Бретани, Брест, Франция)

Сергей Валерьевич Соколовский (Институт этнологии и антропологии РАН, Москва, Россия)

Андрей Владимирович Тютюрский (Московский государственный университет, Москва, Россия)

Сергей Ушакин (Принстонский университет, Принстон, США)

Дмитрий Анатольевич Функ (Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия)

Ольга Борисовна Христофорова (Российский государственный гуманитарный университет / Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Москва, Россия)

Алексей Сергеевич Щавелев (Институт всеобщей истории РАН, Москва, Россия)

Татьяна Борисовна Щепанская (Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН, Санкт-Петербург, Россия)

Антропологические теории для XXI века: дорожная карта

В этом «Форуме» речь идет об отношении к теориям и теоретическому знанию среди этнологов и антропологов. Отвечая на вопросы организаторов «Форума», его участники обсуждают необходимость общей «большой теории», которая бы объединяла все антропологическое сообщество, напряженные отношения между теорией и описанием, причины, проявления и эффекты усталости от теории и потребности в ней, ее недостатка и перепроизводства. В репликах отмечаются наиболее перспективные теоретические концепции (в частности, приводятся разные мнения о постантрополоцентристском векторе в гуманитарных исследованиях). Авторы рассуждают о том, в какой степени «живучесть» теорий зависит от внешних и внутренних факторов, делятся личным опытом и стратегиями обращения с теориями: их отбора, комбинации, трансформации и самостоятельного производства. Реплики участников свидетельствуют о значительных различиях в подходах к пониманию сущности и функций теории в антропологии. Отчасти эти различия связаны с разным пониманием участниками предмета антропологии (как истории возникновения культуры и социума или их функционирования). Важным вопросом становится (не)возможность теории стать пространством общего разговора в антропологии. Надежды на реализацию этой возможности связываются с преодолением субъектно-объектной парадигмы, а препятствием для нее оказывается генеративная модель теоретизирования, предписывающая не работу с имеющимися концепциями, а порождение новых.

Ключевые слова: теории, теоретические построения, парадигмы, концепты, большие теории, этнология, этнография, антропология.

ВОПРОСЫ РЕДКОЛЛЕГИИ

За последние примерно полвека или немногим более наши представления о научных теориях (как и об их отношениях с фактами) пережили несколько трансформаций, причем векторы этих трансформаций в естественных науках нередко оказывались противоположными векторам в науках социальных и гуманитарных. Антропология в этом отношении как дисциплина, одна часть которой (эволюционная и биоантропология) прописана по департаменту естественных наук, другая (социальная антропология) — наук социальных и третья (культурная антропология и этнографическая фольклористика) — гуманитарных дисциплин, оказалась в теоретическом отношении расколотовой, как, впрочем, и все научное знание о человеке. XXI век обещает стать веком интеграции и трансдисциплинарного синтеза, и размышления о том, как в эту траекторию вписывается антропологическая теория, имеют, как кажется, два аспекта. Один касается степени внутрицеховой интеграции: насколько сегодня наблюдается (или намечается) сближение концепций и интересов между разными антропологическими субдисциплинами (например, эволюционной и юридической антропологией) и существует ли

вообще у антропологов потребность в некой общей теории? Другой аспект связан с характером теоретического обмена антропологии с другими науками, интенсивностью и продуктивностью теоретических заимствований из смежных и отдаленных областей и (не)возможностью общей «большой теории». Все эти проблемы, очевидно, носят универсальный характер, но российский кейс, связанный с опытом обязательного в советское время марксизма и его последующей отмены, представляется особенно интересным.

В развитии науки обычно выделяют внутренние (логика развития научного знания) и внешние (политические, идеологические, социальные, материальные и др.) факторы. В антропологии теория менее чем в какой-либо другой дисциплине развивается в «лабораторном» вакууме. Организаторам дискуссии было интересно увидеть размышления о том, какие социальные и природные силы (в спектре от деколонизации и феминизма до изменения климата) в последнее время влияют на антропологическую теорию в наибольшей степени.

В этом «Форуме» мы решили обратить внимание на отношение к теориям и теоретическому знанию среди этнологов и антропологов, выявить теоретические предпочтения исследователей (если они имеются и осознаются), обсудить актуальное состояние антропологической теории и получить экспертные прогнозы относительно точек роста и динамики развития знаний в разных антропологических областях и субдисциплинах.

Редколлегия предложила участникам «Форума» ответить на следующие вопросы:

- 1** *В настоящее время культурная / социальная антропология включает такие разные направления, как медицинская антропология, экономическая, политическая и др. Ощущается ли необходимость общей «большой теории»?*
- 2** *В дискуссии двадцатилетней давности («АФ» № 1) отмечалась тенденция движения «от теории к описанию». Происходят ли какие-то изменения по отношению к теоретическим построениям в настоящее время?*
- 3** *В каких антропологических субдисциплинах (направлениях, областях исследований) теория развивается наиболее интересным образом? Какие теории кажутся вам наиболее перспективными?*
- 4** *Какого рода теории используете лично вы — «большие», «локальные» или конструируете свою?*
- 5** *Чем можно объяснить «живучесть» одних теорий и быстрое исчезновение других?*

СЕРГЕЙ АБАШИН

Вряд ли я буду оригинальным в своем кратком ответе, если начну его с вопроса: а что, собственно говоря, мы называем теорией? Это вопрос, с которым приходится постоянно сталкиваться. Например, в документах отвечающего за науку Минобрнауки РФ, которые регулируют защиты кандидатских и докторских диссертаций, говорится, что диссертант должен во введении к своей работе показать «теоретическую и практическую значимость», то же самое должны делать рецензенты в своих отзывах на диссертацию. В оценку докторской диссертации входит пункт «за разработку теоретических положений», что для кандидатской, правда, необязательно. Взяв наугад автореферат одной диссертации по специальности «этнология, антропология и этнография», я нашел в нем фразу о том, что «теоретическая значимость работы заключается в развитии общетеоретических подходов современной отечественной этнологии в контексте смещения ее основного объекта исследований от этноса к этничности путем расширения и дополнения методологии исследований этнокультурных процессов... Развитие этих подходов имеет теоретическое значение в контексте осмысления механизмов формирования и выявления этнокультурной структуры...». Больше в автореферате теория нигде и никак не упоминалась. Диссертант, судя по всему, постарался обойти сложный вопрос, какую же конкретную теорию он опровергает или защищает, выбрав туманное

Сергей Николаевич Абашин
Европейский университет
в Санкт-Петербурге,
Санкт-Петербург, Россия
sabashin@eu.spb.ru

выражение «общетеоретические подходы» во множественном числе. Указание на теорию, таким образом, в диссертации, как и положено по требованию министерства, присутствует, но что это за теория — осталось неясным. Те, кто часто заглядывает в современные российские диссертации по антропологии и этнографии, легко узнают эту распространенную манеру ссылок на теории.

Маленький эксперимент ставит проблему, а зачем сегодня нужна теория, что подразумевается, когда некое объяснение получает статус теории? Понимается ли, следуя примеру точных наук, под теорией в антропологии некая строгая формула или цифровая корреляция, схема-модель в виде набора элементов, расположенных в некотором порядке, совокупность утверждений, приведенных в какую-то классификацию? Или же теорией называется некая общая рамка анализа, фокус, оптика, подход, которые без очень строго формализованных средств лишь обозначают ту или иную исследовательскую проблему и историографическую традицию ее рассмотрения? Часто создается такое впечатление, что понятие «теория» используется в очень неконкретном смысле, антропологи / этнографы намеренно или ненамеренно стараются избегать точных определений и не хотят себя загонять в слишком узкие риторические ворота. В этом словоупотреблении явно нет консенсуса, и существуют разные конфигурации предпочтений и способов включения ссылок на теории в текст как тактик обозначить и легитимировать высказывания в качестве академических и научных. Я бы даже сказал, что в последнее время — чаще, наверное, в российской гуманитарной среде — вижу вместо ссылок на теории слова «концепция», «подход» и «методологическая рамка», которые, видимо, позволяют сохранить академическую ауру, но при этом избежать предполагаемых жестких требований, предъявляемых собственно к теории.

Истоки такого двусмысленного отношения к теории и теоретизированию следует искать в разных исторических событиях и процессах внутри гуманитарных академий. Критика «больших теорий», широкими мазками объясняющих социальные и культурные явления, в антропологии имеет уже давнюю традицию. Начиная с 1970-х гг. гуманитарные науки (и антропология, возможно, одна из первых) подверглись очередной и, пожалуй, самой мощной волне разочарования, прежде всего в прежних структуралистских концепциях. Апелляции к конструируемости социального, гибридности культурного, нелинейности исторического сделали, как утверждали авторы “*Anthropology as Cultural Critique*”, само теоретизирование скорее непрерывной критикой, которая на корню уничтожает любые надежды на позитивистское моделирование. В этих условиях «большие

теории» стали часто обвиняться в схематичности, редукционизме и нечувствительности к очень подвижной и меняющейся реальности. Выросла и подозрительность к их предполагаемой идеологической ангажированности и стремлению ограничить свободу исследователя.

Девальвации теории способствовало также увеличение самого научного сообщества, его внутреннее разделение на многочисленные субдисциплины, направления и национальные школы. Многие из них стали мыслить себя в качестве самостоятельных академических площадок со своим предметом и своим набором авторитетных ссылок. Количество же разнообразных «поворотов», предлагающих новые темы и проблемы, зашкалило и сделало навигацию в теоретических лабиринтах затруднительной. Смена моды на разные обещания новых парадигм стала настолько быстрой, что следить за ней и выстраивать долговременную исследовательскую траекторию представляется в принципе невозможной задачей и стратегией.

Для антропологии, кажется, это цунами скепсиса к теоретизированию оказалось наиболее разрушительным. Вместо построения теорий, как того требует претендующая на строгую научность академическая дисциплина, многие антропологи вслед за Клиффордом Гирцем, авторами “Writing Culture” и Тимом Ингольдом провозгласили в качестве главной методологии понимание, насыщенное описание и интерпретацию, благо любимый, сакрализованный и институционально закрепленный в дисциплине антропологический метод включенного наблюдения позволял создавать научный авторитет антрополога историей проникновения в жизнь изучаемого сообщества, а не построением абстрактных схем объяснения. Вместо производства теоретической модели обязательными стали рассуждения о степени вхождения антрополога в поле, о трудностях этого действия, об этических проблемах, что должно было отныне стать способом подтверждать доверие к экспертизе ученого. Метод и манера письма заменили теорию в качестве легитимирующего академичность источника.

Российская антропология переживала похожие процессы, но с некоторыми существенными особенностями. Недоверие к теории, которое в конце XX столетия охватило мировую антропологию, в России как раз в это время совпало с желанием выйти из удушающих рамок официозной «марксистско-ленинской теории», которая в советское время превратилась, по сути дела, в политический механизм контроля, манипулирования и цензуры с разветвленной институциональной иерархией и набором риторических ритуалов и формул. Отторжение теории в этом случае стало не столько результатом внутриакадемической

критики, допустим, редукционизма и стремления преодолеть его пониманием и интуицией, сколько, на мой взгляд, в большей степени эффектом постсоветской аномии — продолжающегося институционального и интеллектуального распада, в котором в принципе отсутствует методологическая разметка и господствуют внутренне противоречивые и мимикрирующие под разные моды и требования академические стили и практики. В российском случае на первый план, следовательно, вышла критика идеологических требований и последствий всякой теории, мешающих приспособляться к неопределенности и быстрой смене мод и требований. Я даже не побоюсь утверждать, что в России общее отвращение к теоретизированию и формальное к нему отношение оказалось гораздо сильнее, чем где бы то ни было. Если постсовременное недоверие к большим теориям не означает отказа от социально значимых суждений, а лишь меняет способ говорения о них, то постсоветское старается избегать острой социальной критики, страшась заразиться вновь, как в советское время, идеологической ангажированностью, да и просто опасаясь политических обвинений в свой адрес.

Я совсем не хочу сказать, что описанные мною процессы привели к тому, что желание создавать теории или легитимировать научный статус отсылкой к теории совсем пропало. В подзаголовке своего известного историографического обзора антропологических работ в Соединенных Штатах рубежа XX–XXI вв. Шерри Ортнер написала: «Судьба теории после 1980-х гг.». Она описывает новейшую историю американской антропологии как историю интереса, с одной стороны, к «темным» проблемам власти, неравенства и эксплуатации, вдохновляемого марксистской и фукольдianской традициями, с другой — к изучению благополучия, счастья, морали и сопротивления, что было реакцией на «темное» направление. Однако, хотя все эти разные направления перечисляются под рубрикой «теорий», в ее статье чувствуется скептическое отношение к теоретизированию. Ортнер чаще относит к теоретическим именно работы «темной антропологии» и даже называет исследования последней «темной теорией», намекая на ее односторонность. Причем теориями в статье становятся сами категории «неравенство» и «власть», словно одно их употребление делает взгляд на реальность неполным или даже предвзятым.

В России отсылка к теории также не утратила свою функцию как указание на научность, что даже требуется подчеркивать при защите диссертаций, как это диктует правительственное ведомство. Более того, в условиях, когда теоретизирование вышло из фокуса пристального внимания, разного рода схем, претендующих на звание теорий, появилось много. При этом

теоретизирование стало мало к чему обязывающей деятельностью и поэтому легко всем доступной, что привело к навешиванию ярлыка «теория» на весьма экзотические рассуждения, вроде популярных вне академии построений Льва Гумилева. Нередко на роль теории претендуют подробные историографические обзоры и множество ссылок или использование специального сленга, которые должны имитировать теоретизирование. Однако сами эти теории и концепции в действительности никак не структурируют ни научные институты, например журналы, ни научные авторитеты и их рейтинги в цитировании, ни академические дискуссии. Российскую антропологию скрепляют больше бюрократические формальности, нежели теории и их критика.

Говоря о перспективах, я мог бы предположить, что прокатившийся вал скепсиса к теории затих, затихает или скоро затихнет и подозрение к теории сменится на новый интерес к теоретизированию и построению строгих объяснительных моделей. Ссылки на теорию и попытки, пусть разрозненные и чрезмерно многочисленные, создавать теорию говорят о том, что легитимность теоретизирования не ушла из антропологии и, более того, существует усталость от критической деконструкции и стремление найти из кажущегося тупика выход в новую большую теорию. Мечта о позитивном знании, наподобие точных наук, и могуществе экспертизы, которой можно разумно исправлять окружающий мир, по-прежнему остаются институциональным стержнем академической антропологии и мотивацией для антропологических исследований, особенно в России, где постоянно нужно оправдываться перед чиновниками в своей нужности.

Правда, пока контуры такой общей теории не особенно прочитываются. Современные антропологические работы открывают множество новых областей для изучения, раздвигают шире свои интересы в сферы нечеловеческого, переосмысливают роль технологий, находят взаимосвязи между социальными и культурными явлениями, которые раньше не замечались. Заявленных теоретических претензий и «поворотов» появилось много, но я бы не взялся утверждать, что они выглядят состоявшейся победой новой парадигмы над сомнениями и вопросами, как обещал Томас Кун. Ближе всего к какому-то подобию такой действительно совершенно новой парадигмы подходят, пожалуй, лишь генетические исследования, которые уже получают огромное финансирование и, обладая собственным точным аппаратом исследования и анализа, всё больше проникают в социальные и гуманитарные науки и захватывают их области одну за другой, переваривая в собственных построениях. Но что останется в случае полного институционального и экспертного

торжества подобной теории от той социальной и культурной антропологии, к которой мы, выходцы из классической этнографии, привыкли? Самым пессимистичным и, возможно, наиболее реалистичным является прогноз, согласно которому легитимация новых институтов и способов производства знаний под знаменем «новой теории» будет означать маргинализацию гуманитарных наук в их нынешнем виде и в нынешнем состоянии и окончательное перемещение антропологии из академии в сферу художественного письма и образов, поп-науки и «свободных искусств» для элитарного потребления.

АНДРЕЙ АДЕЛЬФИНСКИЙ

1

В советские годы отечественное обществоведение опиралось на одну-единственную и единственно верную «большую теорию». Хорошим тоном считалось начать любой научный текст со ссылок на высказывания узкого круга классиков: Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Владимир Ленин. Представляя свои критические рассуждения касательно окружающей реальности, ученому вначале следовало расписать на 100–150 страниц, что все это уже обсуждалось Марксом. Как иронично отмечают современные комментаторы, данный метод являлся универсальным критерием проверки на истинность¹. Однако похоже, столь сильная преданность первому из десяти величайших экономистов по версии Шумпетера [Schumpeter 1952] привела к сильнейшей усталости от его теорий. Не эта ли догматичность, во многом превращавшаяся в схоластику, оказалась важным фактором для слома прежнего социального порядка? Забавно, что экономисты «перекрестились» в неоклассическую догму, кризис коей вскоре стал темой острых дискуссий [Полтерович 1998]. Наверное, лучше пусть расцветают и дискутируют меж собой минимум десять «больших теорий», чем лишь одна-единственная и единственно верная.

**Андрей Станиславович
Адельфинский**

Московский государственный
технический университет
им. Н.Э. Баумана,
Москва, Россия
adelfi@mail.ru

¹ Сафронов А.В. Мой отзыв на диссертацию Г.А. Климентова с предложениями об исправлении косяков Косыгинской реформы // [vas-s-al.livejournal.com](https://vas-s-al.livejournal.com/923513.html). 2020, 2 нояб. <<https://vas-s-al.livejournal.com/923513.html>>.

4

Небольшое мое исследование в 600 000 знаков строилось от «полевых» материалов и к прикладной пользе. Отсылка к авторитетам остается важным способом легитимации, и без «больших теорий» не обойтись. Впрочем, есть возможность выбора «рамки», к коим можно «примерять» собранные материалы. Соответственно неоклассическая экономика взаправду была бесполезна для объяснений, тогда как ценными оказались экономико-антропологический подход Карла Поланьи, классическая политэкономика, исходный институционализм, работы Лестерской школы Норберта Элиаса и Эрика Даннинга, эволюционная антропология Конрада Лоренца, исследования ритуального процесса Виктора Тернера [Адельфинский 2018; 2022]. Ряд изученных кейсов коммодификации культурного феномена [Adelfinsky 2023] выявил схожие закономерности и позволяет подумать о своей теории «среднего уровня». Будет ли она признана, вероятно, уже зависит от журнала и анонимных рецензентов, куда направится будущая рукопись.

5

Рассуждая о выживаемости научных теорий, логично предложить пример, обнаруживающий три фактора успеха: *живучесть, жизненность и среда*. В Гейдельбергском университете 1920-х гг. учились два человека, вскоре породившие «большие теории» и в итоге ставшие видными социальными теоретиками XX в. Структурный функционализм Талкотта Парсонса оказался активно принят изначально, но со временем потерял популярность и к 1980-м гг. стал считаться многими «мертвым, как додо» [Dorsey, Collier 2018]. Напротив, проигнорированный вначале процессуальный подход Норберта Элиаса стал обретать популярность лишь с 1960-х гг., постепенно породив свою научную традицию и повлияв на «большие теории» Бурдьё, Гидденса и Фуко [Paulle et al. 2012; Dunning, Hughes 2013; Górnicka et al. 2015].

Почему так? Похоже, обе теории являлись «жизненными» (в смысле востребованности временем), поскольку предлагали свежую альтернативу популярному тогда марксизму и оппозировавшим ему учениям. Однако “Über den Prozeß der Zivilisation” (1939) вышла в Швейцарии в год начала Второй мировой войны, будучи написанной неизвестным эмигрантом. Первое издание книги оказалось проигнорировано как в Германии, так и за ее пределами из-за неарийских корней автора и немецкого языка трактата соответственно. Структурному функционализму Парсонса первоначально повезло больше, поскольку его теория развивалась в более благоприятной среде. “The Structure of Social Action” (1937) вышла в США на английском языке, была написана профессором престижного Гарвардского университета. Тем не менее именно процессуальный

подход Элиаса в итоге обнаружил большую «живучесть» (в смысле способности теории выполнять свои функции), поскольку породил конструкцию, позволявшую лучше описывать и изучать динамику реальности.

Библиография

- Адельфинский А.С. Назло рекордам. Опыт исследования массового спорта. М.: Дело, 2018. 384 с.
- Адельфинский А.С. Чествование инклюзивности: организация и ритуал спорта массового участия // Антропологический форум. 2022. № 54. С. 37–67. doi: 10.31250/1815-8870-2022-18-54-37-67.
- Полтерович В.М. Кризис экономической теории // Экономическая наука современной России. 1998. № 1. С. 46–66.
- Adelfinsky A.S. Of Iron Men and the Beer: Democratization and Commercialization in the Triathlon History // The International Journal of the History of Sport. 2023. Vol. 40. No. 12. P. 1120–1139. doi: 10.1080/09523367.2023.2289544.
- Dorsey A., Collier R. Origins of Sociological Theory. London: ED-tech Press, 2018. 384 p.
- Dunning E., Hughes J. Norbert Elias and Modern Sociology: Knowledge, Interdependence, Power, Process. London: Bloomsbury, 2013. 256 p.
- Górnicka B., Liston K., Mennell S. Twenty-five Years On: Norbert Elias's Intellectual Legacy 1990–2015 // Human Figurations. 2015. Vol. 4. No. 3. <<http://hdl.handle.net/2027/spo.11217607.0004.303>>.
- Paulle B., van Heerikhuizen B., Emirbayer M. Elias and Bourdieu // Journal of Classical Sociology. 2012. Vol. 12. No. 1. P. 69–93. doi: 10.1177/1468795X11433708.
- Schumpeter J.A. Ten Great Economists: From Marx to Keynes. London: Routledge, 1952. 306 p.

МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВСКИЙ

1

Лично я считаю, что так называемая балканизация 1960–1970-х гг. — это чуть ли не лучшее, что случилось с антропологией в XX в. Тогда единая дисциплина начала делиться на множество больших и маленьких субдисциплин, одной из которых стала и наиболее близкая мне городская антропология. Несмотря на то что далеко не у всех этих субдисциплин судьба складывалась удачно, мне кажется, что в целом подобное дробление оказалось не только глубоко закономерным, но и в чем-то даже спасительным для антропологии.

Михаил Дмитриевич Алексеевский
КБ Стрелка,
Москва, Россия
alekseevsky@yandex.ru

Славные времена, когда можно было годами всесторонне изучать какое-нибудь далекое племя, ушли в прошлое. А в ситуации, когда объекты исследования антропологов становятся радикально более масштабными и сложно устроенными (как, например, современные мегаполисы), использование некоей универсальной антропологической методологии и общей антропологической теории становилось проблемным. В этих реалиях единая большая антропология рисковала превратиться в колосс на глиняных ногах, который разваливается под тяжестью собственного веса. Неудивительно, что антропологи в итоге пошли по пути специализации, действуя по принципу «лучше меньше, да глубже». И в итоге получилось множество антропологических субдисциплин, у каждой из которых свои проблемы, свои авторитеты и, разумеется, свои теории. И хотя среди них есть как успешно развивающиеся субдисциплины-«красавчики», так и регулярно оказывающиеся в кризисе субдисциплины-«лузеры», все равно кажется, что эта ветвящаяся система специализации пошла антропологии на пользу.

Означает ли всё это, что теперь каждая субдисциплина обречена на собственные теоретические искания, а никакие «большие теории» в антропологии появиться не могут? Вовсе нет. Кажется, что регулярно возникают теории и общие подходы, которые оказывают существенное влияние если не на все антропологические субдисциплины, то на очень многие. Самый очевидный пример — постколониальная / деколониальная теория, которая является значимой не только для политической антропологии или антропологии миграции, но и, например, для антропологии туризма или той же городской антропологии.

Поэтому мне кажется, что тосковать по единой «старой доброй антропологии», когда «теории были большими», так же глупо, как и пытаться забаррикадироваться от всякого внешнего воздействия внутри своей узкой субдисциплины. Для меня современные антропологические субдисциплины — это что-то вроде системы сообщающихся сосудов, каждый из которых обладает своей индивидуальностью и живет своей жизнью. Но когда вся система сталкивается с общими вызовами или когда в одном сосуде появляются теории, полезные и для нескольких соседних сосудов, то, конечно, внутри системы начинает активнее происходить трансфер идей и подходов.

2

Двадцать лет назад я еще был аспирантом, и тогда действительно наше поколение интересовалось теорией существенно меньше, чем полем. Зарубежные теории мы тогда знали очень плохо, более или менее владели разве что почтенной классикой (типа «Очерка о даре» Марселя Мосса или «Обрядов перехода» Арнольда Ван Геннепа), которую тогда уже успели издать на рус-

ском языке. Современные работы на иностранных языках мы почти не читали, а теоретические работы советских этнографов никого уже особо не вдохновляли.

А вот полевые исследования казались чарующими, вдохновляющими и манящими, тем более что в это время появилось много новых направлений полевой работы, где ты легко мог стать первопроходцем. Одни с воодушевлением занимались ранее запретной антропологией религии, другие осваивали антропологические городские исследования, третьи бредили изучением «молодежных субкультур».

Широко было распространено мнение, что в новых условиях нет времени на то, чтобы «умничать», размышляя о теории. Надо поскорее ехать в поле, фиксировать уникальный материал, пока он «цветет и пахнет», а потом поскорее его «вводить в научный оборот» через публикации собранных записей и описательных научных статей. Подразумевалось, что когда-нибудь потом, когда материалы этих полевых исследований уже будут добросовестно изданы, должны подтянуться какие-то другие «башковитые ребята», которые всё это вдумчиво проанализируют, а там, чем черт не шутит, может быть, и до какой-то теории дойдет.

Сейчас я понимаю, что этот энтузиазм пионеров-первопроходцев сыграл с нашим поколением злую шутку. Никакие «башковитые ребята» так и не объявились. Опубликованные тогда статьи так и остались пугающе дескриптивными, сегодня интерес к ним со стороны молодого поколения ученых примерно равен нулю, да и сам я перечитываю некоторые собственные работы того времени со всё большим чувством неловкости.

В научных кругах, к которым я принадлежал, ситуация начала меняться в конце 2000-х гг., а совсем заметными эти изменения стали в 2010-е гг. Тогда постепенно начала появляться своего рода «мода на теорию». Отныне хорошим тоном и в научных статьях, и в докладах на конференциях считалось хотя бы беглое упоминание «теоретиков», на чьи работы ты опираешься. Если кто-то из молодых исследователей в своих выступлениях подобным пренебрегал, то обязательно в зале находился более матерый коллега, который спрашивал: «Простите, а какая у вас теоретическая рамка?» Про описательные статьи, которые еще недавно считались вполне допустимыми, теперь говорили с досадой: «Ну, там вообще никакой теории нет».

Показательно, что в тех работах, где какая-то «теоретическая рамка» все же присутствовала, она оказывалась довольно своеобразной. Во-первых, там очень часто использовали не саму теорию или идеи какой-то научной школы, а скорее имена ста-

тусных «теоретиков», которых достаточно было лишь упомянуть. Какая-то более глубокая исследовательская рефлексия по поводу теоретической рамки и уж тем более полноценный диалог с ее авторами встречались крайне редко. Во-вторых, сформировался довольно ограниченный и специфический набор исследователей, чьи работы считались достойными использоваться в качестве работ «теоретиков». Как правило, это были англоязычные и франкоязычные авторы «больших теорий», чьи основные работы выходили в 1960–1970-е гг. (т.е., на минуточку, примерно полвека назад). Работы отечественных классиков использовать в качестве теоретической рамки стало крайне немодно. Более свежие и более «локальные» зарубежные теории обычно оказывались вне поля зрения молодых российских ученых.

К чему все это нас привело сейчас? Кажется, что за эти 20 лет маятник академической моды в России качнулся в полностью противоположную сторону — «от описания к теории». Однако, увы, нельзя сказать, что от этого качество научных работ стало радикально лучше. В последние годы я преподавал сразу в нескольких университетах в разных городах России (Москва, Тюмень, Великий Новгород, Калининград), читал отчетные исследования своих студентов, слушал доклады на молодежных конференциях, выступал рецензентом статей для научных журналов, словом, познакомился с большим количеством работ молодых ученых. И мне видится, что общая тенденция такова: теория сейчас считается невероятно важной, а вот полевые исследования, которые были так значимы и популярны в годы моей академической юности, теперь часто воспринимаются как что-то второстепенное и не особо ценное.

Порой сейчас алгоритм работы молодого исследователя над научным проектом выглядит примерно так. Сначала из плеяды «авторитетных ученых» выбирается какой-то любимый автор и какая-то его известная концепция или идея, например «право на город» Анри Лефевра. Затем в российских реалиях ищется какое-то явление, которое, как кажется исследователю, можно рассматривать с помощью этой оптики. Ну, например, кажется, что с помощью концепции «права на город» можно описывать различные городские протесты, скажем против вырубки деревьев под стройку. Всё, тема найдена! Дальше даже необязательно собирать какой-то полевой материал. Достаточно бегло поискать информацию об этих протестах в интернете, а потом написать на этом материале статью, где в качестве теоретической рамки будет использовано «право на город» Лефевра. При этом самого «теоретика» (как и его последователей вроде Дэвида Харви) можно вообще не читать, ограничившись парочкой «ритуальных ссылок» и рассчитывая на то, что «все и так знают, что такое “право на город”».

Разумеется, я немного сгущаю краски. Существуют молодые исследователи, которые пишут глубокие работы, где есть и качественно собранный материал, и вдумчивая рефлексия по поводу теории, и прекрасный анализ полученных данных. Однако описанные выше тенденции поверхностного переноса центра тяжести научной работы с поля на теорию хорошо заметны. И лично мне кажется, что подобные «псевдотеоретические» работы оказываются не менее (а может быть, и более) бессмысленными, чем наши дескриптивные статьи 20-летней давности.

3

Мне сложно сравнивать различные антропологические субдисциплины друг с другом, так как на системной основе слежу за развитием только тех направлений, которые относятся к сфере моих научных интересов (прежде всего это городская антропология и прикладные антропологические исследования). Если смотреть на англоязычную науку, то, как мне кажется, самые интересные процессы в области развития теории происходят именно внутри каждой из субдисциплин. Вот только в российской науке на фоне увлеченности «большими теориями» полувековой давности все эти многообразные современные «малые теории» остаются неиспользуемыми и, если честно, неизвестными.

В качестве яркого примера, какой может быть работа с «малыми теориями» внутри антропологических субдисциплин, стоит привести опубликованную недавно на русском языке монографию Сеты Лоу «Пространственное воплощение культуры: этнография пространства и места» [Лоу 2024], оригинальная версия которой вышла в 2017 г. [Low 2017]. По сути своей это путеводитель по теориям и методологическим подходам, которые в последние несколько десятилетий используются в городской антропологии и смежных (суб)дисциплинах в рамках социокультурного анализа мест и пространств. Книга прекрасно структурирована. В каждой из глав представлена какая-то крупная теоретическая рамка («Социальное производство пространства», «Воплощенное пространство», «Транслокальное пространство» и т.п.): сначала идет разбор основных теорий и знаковых работ, выполненных в этой парадигме, а затем в качестве иллюстрации предлагается несколько исследований-кейсов, показывающих, как можно использовать эти теоретические подходы для анализа конкретного материала.

Что бросается в глаза, когда читаешь эту книгу? То, что в главах представлены десятки интереснейших работ, каждая из которых вносит свой вклад в разработку теории изучения пространства. Однако в России про большинство этих исследований и представленных в них теоретических подходов никто ничего не слышал. Показательная деталь: список использованной литера-

туры в книге Сеты Лоу занимает 40 (!) страниц, причем в один раздел издатели поместили те работы, которые существуют в переводе на русский язык, а в другой — непереуведенные; ну и выясняется, что первые занимают 2,5 страницы, а вторые 37,5 страниц. Если посмотреть, работы каких переуведенных авторов, включенных в книгу Сеты Лоу, чаще всего используют современные российские исследователи в качестве «теоретической рамки», то увидим ту самую классику полувековой давности: «Жизнь и смерть больших американских городов» (1961) Джейн Джекобс, «Представление себя другим в повседневной жизни» (1969) Ирвина Гоффмана, «Интерпретация культуры» (1973) Клиффорда Гирца, «Производство пространства» (1974) Анри Лефевра, «Ориентализм» (1978) Эдварда В. Саида, «Изобретение повседневности» (1980) Мишеля де Серто и др. Разумеется, все это очень важные работы, но кажется, что современным ученым полезно было бы обратить чуть больше внимания на теории, рожденные не в прошлом, а в этом веке.

Российским городским антропологам очень повезло, что книгу Сеты Лоу перевели и издали на русском языке, так что теперь даже те исследователи, которые по каким-то причинам не читают научную литературу на английском, могут узнать, как много разнообразных теоретических подходов к изучению пространства появилось за последние десятилетия. К сожалению, у большинства других антропологических субдисциплин в России такого уровня «путеводителей» по современным теориям нет. Но мне кажется, что сейчас перспективнее всего осваивать многочисленные «малые теории» в рамках тех научных субдисциплин, которыми вы занимаетесь.

4

У меня есть любимый образ, на примере которого я обычно объясняю студентам, какое место занимают теории в социальных исследованиях. Я предлагаю им представить себя охотниками, которым надо добыть какой-то определенный вид дичи. Если исследователь — это охотник, то теория — это оружие, которое он использует на охоте. Можно ли пойти охотиться без оружия, т.е. делать исследование без теории? В принципе можно. Некоторые и голыми руками умудряются добычу поймать в чистом поле. Но гораздо чаще результаты подобной охоты оказываются разочаровывающими и для самого охотника, и для окружающих. Точно так же не стоит ждать богатой добычи на охоте, если вы горячий фанат оружия (т.е. любитель теории), держите его в чистоте, любите им красоваться, но при этом не умеете нормально стрелять. Теорию недостаточно знать и любить. Надо уметь ею пользоваться.

Можно ли самому сделать оружие (придумать теорию), а не брать чьи-то чужие разработки? Да, конечно, можно, но жела-

тельно, чтобы у вас были какие-то навыки и/или таланты в области изготовления оружия. Иначе велик шанс, что ваш самодельный лук из палок и веревочек окажется не особо эффективным, так что вы вернетесь домой с пустыми руками.

Если вы берете на охоту оружие, сделанное другими людьми (что в принципе логично), то вам нужно правильно его выбрать. Если вы с собой возьмете слишком много видов оружия (слишком много теорий), то велик шанс, что вы устанете, запутаетесь в них и не сможете эффективно применить, когда будет необходимость. Если у вас есть любимый вид оружия (любимая теория), так что вы собираетесь на каждую охоту брать только его, то имеет значение, на кого именно вы охотитесь. Если это всегда один и тот же вид зверя, а любимое оружие доказало свою эффективность, то почему бы и нет. Но если у вас разнообразные охотничьи (научные) интересы, то имеет смысл выбирать вид оружия по ситуации, в зависимости от того, на кого именно вы собираетесь охотиться. В одних случаях уместно ружье, в других — арбалет, в третьих — капкан и т.д. В этой логике «большие теории» — это более универсальное оружие, которое можно использовать в самых разных ситуациях, зато более специализированные «локальные теории» лучше подходят, когда вы охотитесь на кого-то определенного.

Что касается моего собственного «охотничьего» поведения, то я предпочитаю не торопиться с выбором вида оружия. Если я берусь за новую для себя тему, то сначала стараюсь изучить все основные работы по ней, сделанные другими исследователями. Если продолжать сравнение с охотой, то я, выбрав, на кого охотиться, начинаю с того, что внимательно знакомлюсь с отчетами других охотников, выбравших ранее тот же вид добычи, и пытаюсь понять, насколько эффективно они использовали при этом тот или иной вид оружия. На мой взгляд, так правильнее, чем сразу идти в оружейный магазин и что-то там пытаться выбрать.

Кстати, попутно должен заметить, что у многих молодых исследователей сейчас возникают очень серьезные проблемы с обзором научной литературы по выбранной теме. Иногда мне кажется, что это уже какие-то совсем утраченные навыки. Когда я прошу своих студентов, готовя отчетную исследовательскую работу, обязательно включить в нее обзор литературы по теме, некоторые просто не понимают, зачем вообще это надо делать. Вот выбрать теоретическую рамку — да, это важно, это считается обязательным пунктом в работе над научным проектом. Собрать какой-то материал, чтобы было к чему применять теорию, тоже считается полезным. А вот искать, читать и обозревать работы предшественников... Зачем? Они же

к этому исследованию прямого отношения не имеют. И вообще у них другая теоретическая рамка. Когда мне такое говорят, приходится объяснять, почему все-таки потратить время и силы на поиск и изучение чужих работ по теме имеет смысл.

Вернемся к моему алгоритму работы с теориями. Изучая исследования предшественников, я особое внимание уделяю их выбору теории (или теорий). Если я вижу какие-то идеи, которые оказались эффективными в качестве теоретической рамки при анализе материала по выбранной мною теме, я пытаюсь прикинуть, насколько они перспективны для решения моих задач. Какие-то теории для меня могут стать основной точкой опоры, а какие-то подходят разве что для беглого упоминания в обзоре литературы, да и то скорее в качестве казуса. Если же ни один из видов «оружия», которое использовали в работе с этой тематикой / проблематикой другие исследователи, не подходит, то тут уже можно думать и о походе в «оружейный магазин» — вспомнить (или почитать), какие есть «большие теории», которые можно было бы попробовать применить в данном случае. Или иногда имеет смысл «расширить» круг поисков, обратив внимание на теоретические основы исследований по смежной проблематике. Ну а если для решения поставленных задач совсем ничего не подходит, то тогда можно подумать и над разработкой каких-то собственных теоретических построений и объяснительных моделей. Но при этом важно не «выдумывать теорию из головы», а в своих идейных исканиях максимально опираться на собранный материал и его анализ.

5

«Сроки жизни» той или иной теории определяются тем, как долго она остается востребованной. Для этого она должна быть: а) известной среди других исследователей; б) понятной и воодушевляющей; в) полезной и удобной в применении. Очевидно, что по первым двум параметрам преимущество имеют «большие теории», особенно если они разработаны «классиками» или учеными с высоким научным авторитетом. У «больших теорий» шире аудитория, про них многие пишут, и на них чаще ссылаются. Иногда их даже преподают в университете, а бывает и так, что вокруг этих теорий формируются крупные научные школы. Нет ничего удивительного в том, что такие «большие теории» обычно оказываются более живучими, нежели «локальные теории», часто существующие исключительно в тесном «гетто» конкретной субдисциплины.

Однако важнее всего все-таки применимость теории в научной практике и ее «интерпретационная сила». И здесь успешные «локальные теории» порой оказываются более живучими, чем некоторые «большие теории», которые все-таки часто подвер-

жены непостоянству научной моды. Теория, обладающая высоким объяснительным потенциалом и удобная в использовании, определенно будет жить долго и счастливо. А вот выморочные и путанные теории, «заточенные» под слишком узкие и специфические задачи, с большой вероятностью будут использоваться только своими создателями и вскоре канут в небытие.

Возвращаясь к сравнению с охотой, можно констатировать, что долгое время наиболее востребованным у широкого круга будет то удобное и эффективное оружие, которое позволяет и новичкам, и опытным специалистам добывать много дичи (в идеале широкого спектра видов). Разумеется, рано или поздно устареют и эти инструменты, ведь прогресс не стоит на месте. Однако они точно «проживут» дольше, чем кривое и косое самодельное оружие незадачливого охотника, мнящего себя «великим теоретиком».

Библиография

Лоу С. Пространственное воплощение культуры: этнография пространства и места. М.: НЛЮ, 2024. 400 с.

Low S. Spatializing Culture: The Ethnography of Space and Place. London: Routledge, 2017. 276 p.

ОЛЬГА АРТЕМОВА

1 Безусловно, *многими ощущается*, но такой теории быть не может в принципе. Желание найти способ бросать шар так, чтобы сбить разом все кегли. Вот что ощущается. Но так не бывает. Нужен устойчивый, последовательный, не ищущий быстрого результата интерес к теоретическому мышлению в собственной сугубо профессиональной среде. А вот его не ощущается в необходимой мере, и, увы, ощущается бессистемное, не имеющее разумного предела расползание или даже размывание предмета социальной / культурной антропологии, а также большая и реальная угроза подлинному профессионализму.

2 Происходят. Предпринимаются амбициозные попытки внедрить якобы новые методологии с громкими призывами к имеющей тенденцию множиться «поворотам», от материального до атмосферного, которые, как

мне представляется, по существу следуют за западными трендами (в значительной мере философского свойства) нескольких десятилетий давности и постоянно смещают дискурс о методологиях к расширению предметной области антропологии. Психологи говорят о «сдвиге мотива на цель», я бы говорила о повторяющемся сдвиге «методологии на предмет». Скажем, звучит призыв отказаться от антропоцентризма как ведущей методологической парадигмы, а на деле множатся темы исследований под девизом «отношения человека и животных», что может вскоре превратиться в избитую «повестку». Высокий стиль рассуждений о методологии в значительной мере имеет отвлеченный от предмета наших исследований характер, который хочется назвать даже не философией, а любомудрием, имея в виду не любовь к мудрости, а любовь к мудрствованию. При этом глубокий исследовательский поиск рискует остаться в прошлом. Больше говорят о теориях, нежели работают с материалом, который может привести к ценным обобщениям или к «инсайтам».

3

Мои интересы прочно связаны с изучением проблем социальной эволюции. На передовом рубеже в этой сфере я вижу книгу Дэвида Гребера и Дэвида Уэнгроу «На заре всего» (2021), а в этой книге — идею мозаичного развития человеческих обществ, чрезвычайно многообразного, не детерминированного какими-либо объективными внешними факторами, но направляемого коллективным творчеством людей. Главная заслуга книги в том, что в ней отрицаются какие-либо общие детерминанты в развитии культур и обществ, но утверждается, что у разнообразия есть ограничения, оно не бесконечно, и вот факторы ограничения представляют собой, на мой взгляд, наибольший интерес для исследователя. Авторы этой книги очень ярко и эвристично продемонстрировали названный тезис в главе о властных структурах («Почему у государства не было происхождения»). Однако, в отличие от авторов этой книги, я склонна думать, что «анархические» общества «равенства и справедливости» с высокими демографическими показателями, основанные на высокотехнологичной экономике, невозможны. Археологические примеры крупных земледельческих «цивилизаций равенства и анархии» неубедительны, на мой взгляд, а исторических и этнографических примеров у Гребера и Уэнгроу нет. Полагаю, что «естественное» развитие «творческого многообразия социальности» прервалось в раннем голоцене — с переходом к земледелию и животноводству на Ближнем Востоке и со стремительным распространением новых форм экономики по ойкумене. Со всеми вытекающими следствиями, прежде всего узурпацией и подавлением властями спонтанного коллективного творчества, хотя в латентных

формах оно продолжается даже при самых деспотических режимах. Выявлять его процессы и результаты в настоящем — самое увлекательное дело для антрополога, интересующегося социальной эволюцией.

4

Будучи сторонницей строгого и последовательного эмпиризма, т.е. изучения как можно более обширного фактического материала, полученного «из первых рук» и с позиций *tabula rasa*, т.е. без исходной теории вообще, я очень хотела бы сконструировать свою теорию, но новые мысли теоретического свойства могут даваться отдельному человеку только по каплям. Может, что-то у меня иногда получается, или я нахожусь под обаянием такой иллюзии. Общую же теорию социальной жизни создать невозможно. Это противоречит тому, как устроена и течет социальная жизнь. Ведь на нашем Голубом Шаре идет невиданный, беспрецедентный социальный эксперимент, направляемый множеством разноразмерных сил, сплошь и рядом противостоящих друг другу, — спонтанный и в силу глобального масштаба не поддающийся разумному регулированию эксперимент.

Среди теоретических направлений классической социальной / культурной антропологии мне ближе всего подходы и методологические установки Франца Боаса, Альфреда Рэдклифф-Брауна и нашего А.Н. Максимова. Они мне не кажутся ни устаревшими, ни сколько-нибудь основательно реализованными, во всяком случае в отечественной науке. Мы до них еще не дотянулись. Наверное, более всего я привержена, скорее неосознанно, чем осознанно, структурно-функциональному подходу при анализе социальных институтов и диффузионистскому — при размышлениях о путях социальной эволюции в глобальной перспективе. Но есть множество других ценных в теоретическом отношении подходов, а число книг, в которых рассыпаны «прозрения», очень велико и продолжает множиться. Было бы время читать. Создать же или найти у кого-то или где-то методологическую панацею, повторяю, невозможно!

5

Тем, что одни в той или иной мере оправдываются действительностью, а другие нет. Я даже не побоюсь сказать — степенью профессионализма, трудолюбия, талантливости, самостоятельности, эвристичности и проницательности их создателей. А вообще предложенные вопросы не для интервью, а для серии дискуссий с серьезными публикациями методологического характера.

Кстати, вижу определенные неточности в преамбуле к этим вопросам. В ней же нахожу некоторые высказывания и попытки обобщений, которые кажутся сомнительными.

«Антропология в этом отношении как дисциплина, одна часть которой (эволюционная и биоантропология) прописана по департаменту естественных наук, другая (социальная антропология) — наук социальных и третья (культурная антропология и этнографическая фольклористика) — гуманитарных дисциплин, оказалась в теоретическом отношении расколотой, как, впрочем, и все научное знание о человеке». В нашей стране уже почти 20 лет, немногим менее, все это «прописано» по одному новому «департаменту» — направлению «Антропология и этнология», которое включает биологическую антропологию и этологию человека, социальную / культурную антропологию с субдисциплинами и этнологию. Но когда и не было «приписано» к особому «департаменту», а включалось в историю, все равно исследования имели общее информационное поле, и ставились одни и те же проблемы, и общий поиск методов велся. Неслучайно Институт этнологии и антропологии получил такое название еще в 1990-е гг. Нелепо отдельно говорить о социальной антропологии как о дисциплине, принадлежащей к социальным наукам, и о культурной как о дисциплине, принадлежащей к гуманитарным, может, в каких-то номенклатурах малограмотные люди что-то в этом духе сделали, но кто же их слушает из серьезных исследователей! Это просто разные названия того же самого, пришедшие одно из английской, а другое из американской традиций. А у нас то же информационное поле и те же исследовательские темы поднимались в русле этнографии, потом переименованной в этнологию для солидности. А потом — в социальную, или социокультурную, или просто культурную антропологию (а ведь встречается и некультурная!), чтобы быть в одной упряжке с англоязычным Западом. Попробовали бы вы С.А. Токареву сказать, что у него была другая профессия, чем у Боаса или Эванса-Причарда! Уж не говоря о Дюркгейме, именовавшемся этнологом — по французской традиции. Далее, наука наша не человека изучает, а плоды его творчества — культуру во всех ее проявлениях, в том числе социальность, социальное творчество. Поехать в поле к догонам и думать, что мы приехали их изучать, да еще, не дай Бог, им так сказать — сделать грубую ошибку, каким бы словом ни называть нашу науку и к какому бы «департаменту» ее ни приписать. Далее, «научное знание о человеке» не может быть единым, так как у разных его отраслей разные задачи и методы их решения! В противном случае уходит главное — профессионализм, что мы сейчас и можем наблюдать нередко... «XXI век обещает стать веком интеграции и трансдисциплинарного синтеза» (это прямой путь во внедисциплинарность, в «рассуждательность» вместо исследований и, разумеется, путь к утрате понятия о профессиональности,

надеюсь, ничего подобного не произойдет, потому что эта идея сама по себе антинаучна!), «и размышления о том, как в эту траекторию вписывается антропологическая теория, имеют, как кажется, два аспекта. Один касается степени внутрицеховой интеграции: насколько сегодня наблюдается (или намечается) сближение концепций и интересов между разными антропологическими субдисциплинами (например, эволюционной и юридической антропологией), и существует ли вообще у антропологов потребность в некой общей теории? Другой аспект связан с характером теоретического обмена антропологии с другими науками, интенсивностью и продуктивностью теоретических заимствований из смежных и отдаленных областей...» (Как серьезный исследователь может заниматься теоретическими заимствованиями из областей, в которых он не подготовлен профессионально? Хоть близких, хоть дальних! Могу ли я заимствовать у генетиков или у микробиологов, зная, как сильно расходятся между собой разные ученые даже в близких мне сферах? Как я могу отличить генетика с «правильной» теорией от генетика с ошибочной, хорошо фундированную работу генетика от работы слабо фундированной? Никак.) «...(не)возможностью общей “большой теории”. Все эти проблемы, очевидно, носят универсальный характер, но российский кейс, связанный с опытом обязательного в советское время марксизма и его последующей отмены, представляется особенно интересным». Простите, но в этой преамбуле просматривается как раз та «рассуждательность», которая меня очень огорчает. И зачем прибегать к таким казенным (бюрократическим) и мутным словосочетаниям, как *дорожная карта*? Ведь это неудачная, но почему-то прижившаяся калька с английского словосочетания, в котором и *route*, и *map* не поддаются буквальному переводу на русский язык.

Под конец несколько общих соображений, безусловно, связанных с предложенными вопросами в целом.

Социальной, социокультурной антропологии / этнографии (этнологии) не повезло в последние десятилетия, она сделалась у нас в стране модной и привлекла к себе множество неспециалистов. Даже маститые психологи призывают к «антропологическому повороту», а кому как не человеку были посвящены их предшествующие исследования? Мы, социальные антропологи / этнологи, изучаем человеческие культуры, но психологи-то самого человека!

Помимо модности, беда нашей науки в том, что она говорит — в лучших своих проявлениях — обыкновенным человеческим языком о предметах, по большей части в той или иной мере знакомых каждому. Отсюда иллюзия доступности любому

имеющему высшее гуманитарное (да и не только гуманитарное) образование и недостаточная требовательность к специальной подготовке при инкорпорации новых кадров в профессиональную среду.

Мне приходилось слышать упреки в профессиональном ригоризме, корпоративном снобизме и т.п. Я и сама порой думаю, права ли я, что придаю решающее значение именно высшему профессиональному образованию и настаиваю на том, что никакое самообразование его заменить не может? Отвечаю утвердительно, вспоминая слова, многократно повторявшиеся С.А. Токаревым: «Как ни плохо учат на кафедре этнографии МГУ, а без тамошнего систематического образования в аспирантуру Института этнографии брать нельзя». А Г.Г. Громов, преподаватель названной кафедры, любил восклицать в адрес названного института, когда там кто-то пытался сетовать на уровень подготовки некоторых аспирантов и даже коллег: «А нечего брать из пушных и заборостроительных!»

Во многом, как представляется, именно благодаря приходу в нашу область немалого числа людей, не имеющих необходимой подготовки, и происходит та отмеченная уже мною выше подмена смысловой или методологической сути исследовательского процесса его предметным наполнением. Можно к любому предмету, хоть к чайнику, добавить слово «антропология» и получить новое направление или новую субдисциплину. Незатейливо, а главное — неисчерпаемо. Само слово «антропология» как бы гарантирует теоретичность, а если еще «ввернуть» что-то о новой или «совершенно другой» оптике, то успех неминуем.

Недавно я нашла свой доклад «В поисках жанра» 2015 г. В нем в порядке шутки или иронического прогноза фигурировали «антропология звука», «антропология запаха» и «антропология метро». К середине 2020-х гг. все три антропологии появились, причем их создатели воспринимают и позиционируют свою научную деятельность вполне серьезно. А самая лучшая идея родилась у студентов Учебно-научного центра социальной антропологии РГГУ: они проводят ежегодную конференцию под названием «Антропология всего — за десять минут» (т.е. выступления не более десяти минут и на любую тему). Заявки поступают в большом числе со всей страны!

Иными словами, я вижу опасность и утратить содержательную составляющую нашей дисциплины, и попасть в «теоретический тупик». Однако все вышесказанное не значит, что я воспринимаю настоящее и будущее нашей науки в мрачном свете. Наука творится яркими индивидуальностями (хотя они и объединены в коллективы), которые обладают хорошим профессиональным образованием, талантом, честностью, трудолюбием, трудо-

способностью и любовью к своему делу, сильно превосходящей любовь к самому себе в науке. Они, конечно, взаимодействуют, обогащают, поддерживают и учат друг друга, создают благоприятную среду для творчества и объединяют усилия для совместной работы. Такие люди у нас были, есть и будут. Особенно радуют некоторые начинающие ученые, не озабоченные «карьерным ростом», готовые к неблагоприятному «черновому» труду, сулящему мало пищи для личного честолюбия, смиряющиеся с тем, что результат не будет ни скорым, ни эффективным, и получающие огромное удовольствие от исследовательского процесса.

ДМИТРИЙ БАРАНОВ

Если взглянуть на теоретические поиски и эксперименты современной антропологии, то в глаза бросается одна общая тенденция: отказ от концепции центричности (неважно, идет ли речь о евроцентризме или антропоцентризме) в пользу множественности, полилокальности, много(меж)видовости. За этим поворотом прячется, на мой взгляд, общее для социальных и гуманитарных наук стремление вырваться за рамки социального и человеческого, поскольку антропоцентрическая перспектива начинает оцениваться как необъективная, неправильная, неэтичная, и нащупать внешнюю точку зрения, или, как выразился Дж. Ло, попытаться увидеть «все из ниоткуда» [Ло 2015: 143]. Цель такого взгляда — «плоское», нетаксономическое описание сущностей, соотношение которых было бы лишено принципа иерархичности. Здесь это означает утрату человеком онтологических привилегий в новой реальности, в которой он теперь является лишь частью некой целостности, состоящей из равновеликих частей.

Выйти вовне и получить объективную картину мира в целом, следуя постулату Витгенштейна о том, что «смысл мира должен лежать вне его»? Как интенция — да, как реальность — по меньшей мере сомнительно. «Взгляд из ниоткуда» — это, как говорит Д. Харауэй, не что иное, как «уловка Бога». Действительно, «экстрагуманизм», выход

Дмитрий Александрович Баранов
Российский
этнографический музей /
Европейский университет
в Санкт-Петербурге,
Санкт-Петербург, Россия
dmitry.baranov@list.ru

за пределы человеческого выглядит скорее иллюзией или метафорой, более органично подходящей для искусства, чем для науки. Из относительно недавних примеров — фильм южнокорейского режиссера Ким Ки Дука «Человек, пространство, время и снова человек» (2018), в котором высмеивается антропоцентризм, подвергается сомнению иллюзия, что человек — царь природы, и поднимаются вопросы: что природа думает о человеке? Как она относится к нему?

В науке метафора от частого употребления рискует реифицироваться, примером чему могут служить некоторые исследования, выполненные, например, в «вещецентричной» перспективе и производящие странное впечатление мифологического нарратива. Неудивительна поэтому и все чаще раздающаяся в адрес сторонников постгуманизма критика любых попыток экстернализации, которая выглядит иллюзорной, поскольку, как замечает Дж. Ло, «мы вплетены в свою плоть, свои способы видения и властные отношения, которые проходят сквозь нас и артикулируются нами. Так что отделение невозможно. В лучшем случае — самообман, а чаще всего — форма безответственности» [Ло 2015: 143].

В этой критике я хотел бы обратить внимание на этическую сторону отказа от привилегированной позиции человека, предполагающего рассмотрение реальности сквозь призму «плоской тектоники онтологии», когда «события человеческого сознания помещаются ровно на ту же плоскость, что и битва канареек, микробы, землетрясения, атомы и смола» [Харман 2012: 75]. Что это означает с точки зрения этики? Равнозначно ли признание так называемой привилегированной позиции человека антропоцентрической предубежденности? Парадоксально, но весьма популярной стала точка зрения, что ослабление эпистемологического антропоцентризма по отношению к по крайней мере живым организмам укрепляет этическую человекоцентричность, поскольку развитие этики чувствительности по отношению к «не-человекам» и признание необходимости понимания их интересов на практике означает взваливание человеком на свои плечи груза ответственности за результаты взаимодействия с ними [Форум 2024]. Но разве низвержение человека с вершины пирамиды и лишение привилегии быть единственным разумным актором не означает на деле снятие с него ответственности? «Выравнивание иерархий», утверждение горизонтальных отношений — всегда ли это оправданно? Ведь если «не-человеки» обладают интенцией, то на них неизбежно возлагается свой груз ответственности.

В целом борьба с антропоцентрической предубежденностью выглядит по меньшей мере наивной хотя бы по той причине,

что непонятно, насколько критерии успеха этой борьбы, да и сам язык ее описания могут быть «неантропоцентричными». Возможность выхода за рамки даже только европейско-американской (евроцентричной) перспективы в антропологии вызывает скепсис у критиков многоцентричности, которые утверждают, что под видом изучения «Другого» маскируется изучение собственного «я», которое, как пишет Д. Роуз, «оказывается помещенным в зеркальной зале, где ошибочно воспринимает свое отражение за внешний мир, видит бесконечный ряд собственных отражений, всегда говорит само с собой и, что неудивительно, находит постоянное подтверждение себе и своему взгляду на мир» [Роуз 2001: 42].

Таким образом, «Другой» никогда не бывает полноправным участником диалога, или, в рамках радикальной интерпретации, полюсом, маркированным как «Другой», фактически становится его отсутствие. И это верно не только в отношении традиционного для прежней этнографической парадигмы концепта «Другой», который, являясь чрезвычайно емким и открытым для различного рода проекций, включал в себя все что угодно, но, казалось бы, только не «нечеловеческое», но и для «нечеловеческих» сущностей, под которыми разными исследователями понимаются разные агенты. Например, если для последователей Б. Латура и М. Каллона под «не-человеками» подразумеваются главным образом вещи, то Ф. Дескола и Э. Кон говорят о представителях именно живой природы, выходящих за рамки человеческого. Как и люди, они имеют свою точку зрения (перспективу) на мир, в котором они живут, и эта точка зрения может кардинально отличаться от человеческой. Но кто бы или что бы ни подразумевалось под «Другим», в этом «Другом» нет ничего такого, что отличало бы его от человека, поскольку, по сути, этот образ имеет проективный характер — ему делегируются человеческие свойства. *Non-humans* становятся заметными, приобретая качества агента, только в определенном контексте, в присутствии человека. К тому же сама идея, что у человека отсутствуют онтологические привилегии, невольно приводит к гомогенизации любых различий как одинаково отклоняющихся от («человеческой») нормы, которые собраны под зонтиком *non-humans*. В этом и проявляется скрытый антропоцентризм.

Антропология как дисциплина по природе своей человекоцентрична. Ее «обесчеловечивание» грозит утратой «дисциплинарной идентичности». Материальность, животные, микробы, духи и другие нечеловеческие сущности не могут быть объектом изучения сами по себе — это удел других дисциплин, и вряд ли междисциплинарные подходы здесь могут кардинально изменить общую картину, учитывая разные языки описания

и решаемые ими задачи. Но попытка проблематизировать роль «жильцов» человеческого мира, сделать их заметными позволит избежать ситуации, сходной с той, о которой когда-то писал С. Лем, критикуя игнорирование кажущихся неважными деталей: «В науке тогда рассуждали примерно так: если мы хотим изучить механизм часов, то вопрос о том, есть ли на его гирях и шестернях какие-либо микроорганизмы или нет, не имеет ни малейшего значения ни для конструкции, ни для кинематики часового механизма, а наличие микроорганизмов заведомо не скажется на ходе часов!» [Лем 2003: 191].

Еще один вопрос, на котором я хотел бы кратко остановиться, связан с появлением новых теорий в антропологии — речь идет о многочисленных «поворотах» или сменах научных парадигм. На примере одного из них — материального поворота — можно обнаружить два аспекта, которые тесно взаимосвязаны друг с другом и отчасти присущи и другим поворотам — это проблема «новизны» новых теорий и их внешнее по отношению к антропологии происхождение.

Знакомство с отечественной историей материальных исследований показывает, что появление нового взгляда на предметный мир, выражающегося прежде всего в наделении его агентностью, парадоксальным образом оказалось связано не с теми дисциплинами, которые традиционно были погружены в стихию материальной культуры, т.е. этнографией и музеологией, а преимущественно с филологией. В скобках замечу, что сходную ситуацию появления новых подходов из-за пределов антропологии, в первую очередь из лингвистики и литературоведения, отмечает и в развитии британской антропологии 1980–1990-х гг. Д. Хикс [Hicks 2010: 71].

Объектно-ориентированная социология и вещецентричная филология предложили новый взгляд на мир вещей, увидев в них субъектность. Свежесть взгляда на мир материальных объектов требовала определенного дистанцирования от собственно материальности, и эту дистанцию, по крайней мере в случае с филологией, создавали аналогии материальной культуры с языком. Традиционное для отечественной филологии снятие противопоставления между субъектом и объектом исследования, когда литературовед является одновременно и «немножко поэтом», привело к плодотворному объединению концепций и практик, принадлежащих миру субъекта и миру объекта. Для нее подобное «превращение объектов в людей», знакомое в «мифологическом регистре», стало удобным концептом, с помощью которого можно было бы описывать отношения между людьми и вещами как субъектно-субъектные. Это стало, вероятно, следствием развития теории полифонии

М. Бахтина, применение которой к материальным объектам позволило услышать «голос» не только людей, но и вещей.

Филологическая перспектива, инициированная московско-тартуской семиотической школой во главе с Ю.М. Лотманом, а также этнолингвистическими исследованиями школы Н.И. и С.М. Толстых, позволила проблематизировать то в вещи, что позднее назовут агентностью. Так, Т.В. Цивьян отмечала, что «вещный мир, создаваемый, охраняемый, поддерживаемый человеком, приобретает самостоятельность, независимость и даже власть над ним. Превращаясь из объекта в субъект, он, в свою очередь, поддерживает и охраняет человека, обеспечивает его существование иногда на поколения вперед, то есть переживает человека. Получая власть над человеком, он формирует и его образ» [Цивьян 2001: 123]. Подчеркивая субъектность вещи, автор писала о ее способности привязывать к себе человека, вступать с ним в равноправные отношения, содержащие в себе порою зерна соперничества [Цивьян 2001: 137]. Говоря об объектноцентрической перспективе, нельзя не упомянуть известную работу В.Н. Топорова «Вещь в антропоцентрической перспективе (апология Плюшкина)». Несмотря на название работы, определяющей подход автора к рассмотрению отношений «человек — вещь», Топоров говорит и о необходимости учитывать «вещецентрический» взгляд, наделяющий вещь субъектностью: «[Н]есомненно, что и у вещи есть своя доля, в которой она диктует свою волю человеку, и “антропоцентрическая” в отношении вещей позиция вовсе не исключает целесообразность “вещецентрического” взгляда на человека. Не только “человек — мера всех вещей”, но в известном отношении и обратно: “вещь — мера всех людей”» [Топоров 1995: 17].

В филологии приписывание материальным объектам интенциональной способности действия привело не к материальному повороту, как это произошло в случае с появлением акторно-сетевой теории, в рамках которой особое внимание, правда только на первых порах, уделялось собственно материальности, а скорее наоборот — к убеждению, что именно «нематериальные свойства» вещи являются ее наиболее сильной характеристикой. Подчеркну, что филология независимо от социологии и даже раньше нее открыла субъектность вещи, увидев ее в фольклоре и литературе и восприняв как готовый концептуальный продукт. Фольклорные и мифологические тексты открыли для ученых мир многоголосия, и один из самых громких голосов оказался принадлежащим миру оживших вещей.

Можно привести и другие примеры независимых траекторий развития концептов, принадлежащих разным дисциплинам и по-разному звучащих, но имеющих сопоставимое смысловое

содержание. Например, так называемая топологическая система Дж. Ло (особое «сетевое» пространство, формируемое отношениями и объектами), которая основана на идее, что именно практики предшествуют пространству, переключается с давней, высказанной задолго до социологов мысли В.Н. Топорова об особенностях мифологического пространства, заключающихся в том, что именно объекты порождают пространства, и в этом смысле категория пространства не является универсальной [Топоров 1983: 234].

Другой пример гетерогенной природы или независимого происхождения новых концепций — введенное А. Джеллом понятие «распределенной личности», подчеркивающее ее составной, неоднородный характер и возможность «делегирования» человеческих свойств взаимодействующему с ней предметному миру, т.е. «распределения» вне сингулярного человеческого тела значимых компонентов личности. Тем самым человек через этот предметный мир может оказывать воздействие, пусть и отложенное во времени, на других [Gell 1998: 104, 231]. Д. Миллер распределение личности в вещах называет материальностью субъекта, подразумевая под этим более конкретный процесс — экстраполяцию личности на принадлежащие ей вещи [Miller 2005: 8]. И в этом случае филологам этот феномен был известен давно — тот же В.Н. Топоров задолго до Джелла рассматривал ряд мифологических традиций, в которых актуально представление, например, о доме как о некоем внешне отчуждаемом теле владельца дома, продолжающем неотчуждаемое тело [Топоров 1983: 255, прим. 58]. И наоборот, личность человека может быть описана как результат собирания или изготовления вещей, как своего рода проекция ансамбля предметов, что отразилось, например, в загадках о человеческом теле. Распределенный характер личности может иметь буквальное выражение в архаичных представлениях об агрегатной природе человеческого тела, например в особенностях изображения человека в архаическом искусстве через разъятость его фигуры, и в «языковой» мифологии, что нашло свое отражение во внутренней форме ряда обозначений тела по принципу «агрегатности, соединенности, совокупности» [Топоров 1983: 255, примеч. 58].

Еще один символ новых антропологических теорий — перспективизм — задолго до его автора, Вивейруша де Кастру, был в центре внимания еще в начале 1980-х гг. в работах Е.С. Новик, в которых был предложен анализ игры точками зрения в фольклоре и шаманских практиках сибирских народов. Но исследование было проведено в рамках фольклористической традиции с отсылкой на диалогическую конструкцию М. Бахтина, поэтому смена перспектив, в частности описание событий «с точки зрения духов», рассматривалась лишь как прием, с помощью

которого варьируется фабула и в целом развивается сюжет в архаической эпике [Новик 2004: 256, 266].

Рассмотрение этих примеров (ряд их можно было бы продолжить) позволяет сделать следующее наблюдение: многие новые теории в антропологии являются новыми лишь отчасти. Подобная «неновизна» имеет две причины. Во-первых, идеи, например сосуществования нескольких перспектив, агентности вещей, агрегатности тела и распределенной личности, можно обнаружить в индигенных картинах мира, и антропологи об этом давно знали, но ими эти концепции не были усвоены и использованы как готовый концептуальный продукт, а воспринимались лишь как «этнографический материал», отражающий «наивную» картину мира. Возможная причина игнорирования их заключается в том, что эти идеи принадлежат Другим, которых этнографы изучали, описывали и интерпретировали, но до недавнего времени не учились у них.

Во-вторых, новые концепции в одних дисциплинах не являются таковыми в других. Малая осведомленность, скажем, социологов о том, что сделано в этой области этнографией или филологией, указывает на принадлежность этих дисциплин разным (в терминах Ло) топологическим системам, проявлением чего является слабость конститутивного воздействия антропологии и филологии на социологию, как, впрочем, и наоборот — социологии на этнографию и филологию, что характерно было не только для российской этнографии, но и для, например, британской антропологии, которая весьма медленно и неохотно воспринимала идеи акторно-сетевой теории Б. Латура [Miller 2005]. Старые «филологические» концепты в социологии и антропологии получают новые названия и новое звучание и становятся при наличии определенных условий символами многочисленных «поворотов». Причем эти условия могут иметь «экстра-научный» характер. Например, объектно-ориентированные исследования конца XX в. возникли как ответ на кризис репрезентации 1980-х гг. и более глубокую постколониальную критику, сопровождавшую этот кризис. Вещи оказались более безопасными для изучения, чем люди, и популярность материальных исследований росла, по крайней мере отчасти, именно по этой причине [Fowles 2016: 9]. С этой точки зрения пробудившийся интерес к вещам знаменует ностальгию по грубой материи в ответ на кажущееся торжество виртуальности, а доминирующий (и отчасти надоевший) в это время скептицизм деконструкции всего и вся заставил принять вещи как своего рода убежище от чрезмерного теоретизирования [Fowles 2016: 10].

Если допустить, что вектор развития современной антропологии во многом определяется преодолением онтологической

прерывности между объектом и субъектом, пониманием и познанием, магией и наукой, интуицией и анализом, т.е. всем тем, что одновременно сосуществует в каждом человеке, в том числе и в самом антропологе, то антропоцентричность науки из недостатка превращается в ее достоинство, имеющее эвристический потенциал.

Библиография

- Лем С. Библиотека XXI века. М.: АСТ, 2003. 607 с.
- Ло Дж. После метода: беспорядок и социальная наука / Пер. с англ. С. Гавриленко, А. Писарева, П. Хановой. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2015. 352 с.
- Новик Е.С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме: опыт сопоставления структур. М.: Восточная литература, 2004. 304 с.
- Роуз Д.Б. Экология и этика отношений с окружающей средой у коренных народов Австралии // Этнографическое обозрение. 2001. № 2. С. 41–52.
- Топоров В.Н. Пространство и текст // Цивьян Т.В. (отв. ред.). Текст: семантика и структура. М.: Наука, 1983. С. 227–284.
- Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: исследования в области мифопоэтического. М.: Прогресс — Культура, 1995. 624 с.
- Форум: Люди и другие живые существа // Антропологический форум. 2024. № 62. С. 11–224.
- Харман Г. О замещающей причинности // Новое литературное обозрение. 2012. № 2. С. 75–90.
- Цивьян Т.В. Семиотические путешествия. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2001. 247 с.
- Fowles S. The Perfect Subject (Postcolonial Object Studies) // Journal of Material Culture. 2016. Vol. 21. No. 1. P. 9–27.
- Gell A. Art and Agency. An Anthropological Theory. Oxford: Clarendon Press, 1998. 271 p.
- Hicks D. The Material-Cultural Turn: Event and Effect // Hicks D., Beaudry M.C. (eds.). The Oxford Handbook of Material Culture Studies. Oxford: Oxford University Press, 2010. P. 25–98.
- Miller D. Materiality: An Introduction // Miller D. (ed.). Materiality. Durham, NC: Duke University Press, 2005. P. 1–50.

ВАРВАРА БАХОЛДИНА

Бахолдина Варвара Юрьевна
 Московский
 государственный университет,
 Москва, Россия
 vbaholdina@mail.ru

1

Что касается тенденции синтеза наук и внутрицеховой интеграции, как мне кажется, потребность в объединении существенно различается у представителей разных субдисциплин: в социальной и куль-

турной антропологии вполне обходятся без обращения к биологии человека и эволюционной антропологии, в то время как биологическим антропологам явно недостает «гуманитарного воздуха» других наук о человеке. В исследованиях по биологической эволюции традиционно присутствуют археологические и исторические данные, а биологические антропологи сегодня широко применяют психологические и социологические тесты. Но, разумеется, остается актуальной проблема специфики научных дискурсов, в связи с чем работы биологических антропологов с трудом находят путь в психологические и гуманитарные журналы. Кроме того, внутри научных сообществ каждой из субдисциплин всегда присутствуют и центробежные, и центростремительные тенденции, и сторонники последних, в намерении сохранить неприкосновенными границы своей области, зачастую предпринимают энергичные усилия против попыток коллег «выйти за флажки».

Общая «большая теория» для всех антропологических субдисциплин существует, очевидно, независимо от наших представлений о том, необходима ли она, возможна ли или теоретическая канва культурной, социальной и тем более биологической «антропологий» слишком разнятся, чтобы можно было найти для них единое теоретическое основание. Многое зависит от расстановки акцентов — делаются ли они на различиях подходов и предметов исследования отдельных антропологических субдисциплин или, напротив, на поисках общности их теоретических составляющих. Если признать реальность такой общности, тогда можно говорить о существовании некой общей матрицы, «антропологической» научной парадигмы, которая, согласно Куну, включает всю систему научных теорий, методов исследования, а также круг научных проблем, которые рассматриваются как имеющие смысл и возможность решения [Кун 2001]. В этой теоретической системе можно попытаться обнаружить центральную, наиболее общую теорию, вокруг которой и во многом согласно которой формируются более локальные теоретические конструкции. Центральной идеей всей «антропологической» парадигмы, очевидно, в наибольшей степени соответствует концепция прогрессивного эволюционного развития — движения от простого к сложному, от архаики к современности, — теория биологического, культурного и социального прогресса. Эта «большая антропологическая теория» охватывает проблемы и биологической, и культурной, и социальной антропологии, отражая, по словам Сьюзен Гал, представление «о модернизации и развитии как движущих силах социальных перемен» [Форум 2004: 36].

Но, как выясняется, концепция прогрессивной эволюции в качестве теоретического стержня общей антропологической

парадигмы далеко не безупречна, и на это обращали внимание участники дискуссии двадцатилетней давности. Как пишет Александр Панченко, в культуре «не существует процессов, которые можно однозначно трактовать как регрессивные или прогрессивные, а исторические изменения культурных форм, вероятно, не подчиняются строгим универсальным законам» [Форум 2004: 75]. Выясняется, что таким законам (если они существуют) порой не подчиняются и биологические изменения. В эволюционной антропологии в последние годы обсуждается несколько научных «аномалий», появление которых создает немалые трудности для традиционных представлений о биологическом прогрессе. Это и ардипитек, и люди из пещеры Диналеди в Южной Африке, и древнее население Дманиси и острова Флорес. Перечисленные находки создают объективные проблемы для эволюционной антропологии в связи с необычными, с трудом поддающимися оценке особенностями обнаруженных ископаемых материалов. Но «аномалии» могут создаваться и руками самих исследователей, когда авторская интерпретация давно известных фактов вносит радикальные изменения в уже, казалось бы, устоявшиеся представления. При этом может возникнуть новая теория, которая находит своих сторонников и достаточно быстро может стать общепризнанной и с которой приходится считаться, поневоле включая ее в учебные курсы по антропологии. Такого рода «аномалией», как мне представляется, сегодня является однозначная трактовка находок из Джебель Ирхуд в качестве ранних сапиенсов, что влечет за собой целый шлейф теоретических последствий, вопросов и проблем.

Дополнительную сложность для признания теории прогресса в качестве наиболее общей парадигмальной концепции представляют свидетельства о несовпадении темпов и, возможно, даже векторов биологической и культурной эволюции и их последствий. Об этой проблеме писал еще Я.Я. Рогинский [1985], обсуждая возможные причины исчезновения неандертальцев и называя в качестве одной из них опережающее развитие материальной культуры, которое, по его мнению, не соответствовало неандертальской архаической морфологии. Он считал, что появление «культурной» вооруженности слабо вооруженного от природы вида нарушало внутригрупповой социальный баланс в связи с отсутствием у этого вида врожденного запрета на агрессию. Рогинский апеллировал при этом к известной работе Конрада Лоренца и его опасениям относительно дальнейшей судьбы современного человечества, когда «есть веские основания считать внутривидовую агрессию наиболее серьезной опасностью, которая грозит человечеству в современных условиях культурно-исторического и технического развития» [Лоренц 1994].

Таким образом, попытка определения содержания и формулировки «центральной», или «общей», антропологической теории обнаруживает несовершенство нынешних представлений о ней и необходимость продолжения теоретических исследований.

2

Возможно, сегодня еще больше, чем двадцать лет назад, становится актуальной тенденция движения не «от единичного к общему», соответствующая традиционному индуктивному методу, но «от общего к единичному». При этом последняя формулировка не просто подразумевает переход «от теории к описанию», но обозначает перенос внимания от средних показателей для выборки, полученных путем статистического анализа, к единичному, индивидуальному, которое неизбежно и безвозвратно теряется в процессе традиционной обработки больших массивов данных. Статистические методы заведомо предполагают избавление от так называемых выбросов, т.е. данных, которые существенно отличаются от показателей общей выборки, и это действительно имеет смысл в большинстве статистических анализов, например в процессе изучения средних морфологических особенностей тех или иных возрастных групп. Однако количественно могут характеризоваться не только физические признаки, но, например, уровень самооценки или какие-то другие психологические или социальные характеристики, и в этом случае потеря «выбросов» может означать потерю каких-то особых индивидуальных случаев, которые могли бы представлять самостоятельный интерес.

Возникает вопрос — что могут дать науке такие частные, единичные случаи и их описание? С одной стороны, изучая локальные явления, единичные феномены, исследователь всегда надеется обнаружить закономерность, уловить тенденцию и в конечном счете получить возможность теоретического обобщения на уровне хотя бы слабой гипотезы. Любые описания предполагают последующую их интерпретацию и тем самым становятся основой обобщений того или иного уровня, что отвечает потребностям человеческого мышления, в принципе склонного к обобщениям и созданию интегральных конструкций. С другой стороны, изучение отдельных частных феноменов может стать самостоятельным и вполне «легальным» направлением современных исследований. Антропология на нынешнем этапе своей истории может себе позволить не только накопление фактов и их обобщение, но и специальные исследования частных случаев, выпадающих в силу своих особенностей из поля зрения исследователей или сознательно исключаемых из анализа.

3

В биологической антропологии в целом, конечно, наиболее динамично меняется теоретическая матрица антропологии

эволюционной. Если попытаться обобщить современные тенденции теоретического творчества в этой сфере, то они обозначают усиление противостояния двух давних подходов — моноцентрического и полицентрического, наиболее перспективным из которых сегодня представляется последний. В отличие от дискуссий, которые велись по этой проблеме на протяжении почти всего прошлого века, в современных исследованиях наблюдается заметное «увеличение масштаба» — рассматриваются отдельные регионы и обсуждается возможная дифференциация и взаимодействие внутри них [Scerri et al. 2018]. При этом выбор делается в пользу признания наиболее вероятным полицентрического сценария формирования регионального антропологического разнообразия, и тем самым происходит неявный выбор в пользу мультирегиональной теории эволюции в целом.

Если рассматривать всю антропологическую матрицу, то очень интересным, но, возможно, и наиболее сложным трендом теоретических исследований остается изучение соотношения и взаимозависимостей биологического и социального, о чем в свое время писал Я.Я. Рогинский и что пытаются сегодня изучать и биологические, и некоторые культурные антропологи. Но коллегами из смежных субдисциплин такие работы зачастую рассматриваются как биологизаторство и вызывают реакцию негативного характера. Так, в одном отзыве, полученном автором от рецензента-психолога, само упоминание имен Кречмера и Шелдона было расценено как свидетельство «чуждого подхода». Однако и автору этих строк в свое время показалась странной и несколько чуждой тема исследования, опубликованного в журнале по биологической антропологии и посвященного костюму институток на рубеже XIX–XX вв. Таким образом, выясняется, что широкой интеграции и синтезу антропологических дисциплин может препятствовать и сохранение глубоко архаических представлений о «своих» и «чужих» в современной антропологической научной среде.

Библиография

- Кун Т. Структура научных революций. М.: АСТ, 2001. 606 с.
- Лоренц К. Агрессия. М.: Прогресс, 1994. 272 с.
- Рогинский Я.Я. О причинах исчезновения неандертальцев // Вопросы антропологии. 1985. Вып. 75. С. 10–13.
- Форум: Современные тенденции в антропологических исследованиях // Антропологический форум. 2004. № 1. С. 6–94.
- Scerri E.M.L., Thomas M.G., Manica A. et al. Did Our Species Evolve in Subdivided Populations across Africa, and Why Does It Matter? // Trends in Ecology and Evolution. 2018. Vol. 33. No. 8. P. 582–594. doi: 10.1016/j.tree.2018.05.005.

ЮРИЙ БЕРЕЗКИН

1

Мне кажется, что антропология делится не на медицинскую, политическую и т.п., а на ту, которую интересует возникновение и развитие социума и культуры, и на исследующую механизмы функционирования сообществ. Обе задачи вполне осмысленны, но требуют разных знаний и вряд ли могут плодотворно друг с другом взаимодействовать, хотя и ссориться им не из-за чего. Для первого направления «большой теорией» является дарвинизм, но не «социальный», конечно, а понимание того, что в эволюции нет запрограммированных форм и что причину развития в том или ином направлении невозможно определить, поскольку система слишком сложна, чтобы учесть все факторы, которые на нее влияют. Что касается второго направления, то здесь я слишком плохо осведомлен. Были исследователи (известнейший пример — Альфред Рэдклифф-Браун), стремившиеся обнаружить нечто, ответственное за функционирование любого сообщества, какой-то последний принцип и механизм. Видимо, эти поиски не увенчались успехом, иначе бы о результатах сообщали «Википедия» и «Ютуб». При этом в смежных дисциплинах (этология, психология, нейрофизиология, социология) открытия совершаются непрерывно, и «Ютуб» о них не молчит. Что-то здесь не то, хотя, повторю еще раз, я не специалист в данной области.

5

Говоря о культурной антропологии, я буду иметь в виду в том числе фольклористику, которую знаю лучше и которая является частью антропологии *sensu lato*.

По Т. Куну, успех новой парадигмы определяется настроениями в сообществе ученых. Если парадигма выглядит привлекательно, ее принимают, причины же привлекательности могут быть с наукой не связаны. Если говорить о науках, основанных на эксперименте или (археология и геология) прямом наблюдении, Кун был явно и безусловно

Юрий Евгеньевич Березкин

Музей антропологии и этнографии
(Кунсткамера) РАН /
Европейский университет
в Санкт-Петербурге,
Санкт-Петербург, Россия
berezkin1@gmail.com

неправ. Ошибочные теории здесь отбрасываются постольку, поскольку появляются противоречащие им и признанные надежными факты либо факты другого рода признаются фиктивными и ненадежными. Можно, конечно, настаивать на том, что всякое «признание» субъективно, а как «на самом деле», никто не знает. К подобной софистике следует относиться так же, как к звонкам телефонных мошенников, — не отвечать на них. Помню, как на протяжении лет пяти консервативно настроенные исследователи пытались опровергнуть дрейф литосферных плит и выход-из-Африки, но далее стало ясно, что спорить не о чем. Примерно столько же длился «хайп» касательно иллюзорной миграции в Новый Свет из Европы по льду Атлантики. И уж на что мощной концепцией казалась в свое время «неолитическая революция» Гордона Чайлда, но и она утратила актуальность, однако не из-за того, что разонравилась — идея была не только красивой, но и давала стимул исследованиям. Однако постепенно раскопки показали, насколько реальность сложнее. Даже если термин остался, от его первоначального содержания мало что сохранилось.

В культурной антропологии нет ни эксперимента, ни наблюдения, способного однозначно подтвердить или опровергнуть теорию. Это серьезная проблема, ибо в таком случае само отнесение данного способа познания мира к науке делается проблематичным. В отсутствие эксперимента и прямого наблюдения те теории, которые себя пережили или были изначально ошибочными, редко опровергаются, скорее о них забывают как о старой игрушке после появления новой. В 1960-е гг. Алан Дандес писал откровенно фрейдистские статьи. Как минимум одна из них [Dundes 1962] появилась в ведущем американском антропологическом журнале, хотя иначе как бредом или провокацией назвать ее было трудно. И ничего — репутация Дандеса не пострадала. Его работы с фрейдистской тематикой не вошли в антропологический мейнстрим, но и не вызвали особой критики.

Приведу другой пример. Осмыслив содержание сотен индейских нарративов, К. Леви-Строс создал немыслимо сложную по форме и эстетически изощренную конструкцию, насыщенную порождениями гениального интеллекта. Однако в результате мы не приблизились к пониманию особенностей индейских культур и не узнали ничего нового об их происхождении. Сейчас Леви-Строс как исследователь мифологических нарративов почти забыт. Он ничего не «открыл», а в качестве интеллектуальной игрушки его структурализм приелся. А вот Э. Тайлор, Ф. Боас, А. ван Геннеп, Б. Малиновский, Дж. Стюард, В. Тернер или М. Салинз — открыли. Неважно, в чем они ошибались, а важно то, что некоторые впервые осмысленные ими особенности культуры и общества можно считать доказанными и на

этой основе строить науку дальше. Не могу сказать, что у всех перечисленных были собственные «теории». У Стюарда или Малиновского — пожалуй, но не у Боаса или ван Геннепа. Просто эти люди в определенный период своей работы проявили наблюдательность и здравый ум, а также постарались изложить свои выводы понятно и просто.

Научные гипотезы необязательно должны быть верными. Верные они или нет, выяснится потом, но они должны допускать проверку и возможность опровержения. Отказываясь от проверки, мы, по сути дела, отказываем соответствующим идеям в статусе гипотезы. Дандес никогда не был популярен в России, но В.Я. Пропп по праву считался и остается одной из крупнейших фигур в науке советского времени. Он полагал, что эпизоды и образы волшебной сказки отражают обряды инициации подростков в первобытном обществе. Некогда такие обряды должны были быть распространены повсеместно, хотя до недавних пор они сохранялись лишь в немногих изолированных областях мира. Пропп редко ссылаясь на этнографические примеры и в основном имел в виду условный конструкт, не привязывая его к конкретным регионам или периодам времени. Заимствовав от Г. Шурца представление об универсальном характере возрастных классов, мужских союзов и мужского дома [Schurtz 1902; Грибовский 2019], Пропп пришел к заключению, что образы и эпизоды, отражающие верования и ритуалы неопределенно далекого прошлого, обусловили репертуар сказочной фантастики. Почему бы и нет, но принять эту идею на веру было невозможно, не рассмотрев аргументы против.

По мнению С.Ю. Неклюдова, «Исторические корни волшебной сказки» — самая популярная у читателей книга Проппа — прямо продолжает и иллюстрирует его же «Морфологию сказки», знакомую в основном специалистам [Неклюдов 2021]. Обе работы действительно тесно связаны, и эта связь логична. Одну абстракцию (схема волшебной сказки) можно сопоставлять лишь с другой абстракцией (первобытный коллектив, организующий инициации мальчиков). Соответственно любая критика Проппа, основанная на обращении к конкретике, как фольклорной, так и археологической и этнологической, не имеет отношения к проблемам, занимавшим его самого. Однако верно и другое: логические построения столь высокого порядка, какими оперировал В.Я. Пропп (как и К. Леви-Строс), не имеют отношения ни к исследованию конкретных текстов, ни к реконструкции элементов культуры обществ, существовавших в прошлом на тех или иных территориях.

То же можно сказать о работах Е.М. Мелетинского — еще одного выдающегося фольклориста позднесоветской эпохи, чей

личный и научный авторитет остается непрекращаемым. Мелетинский с интересом относился к попыткам объяснить темы и образы (мачеха, братья-близнецы), связанные с поведенческими практиками и отношениями в семье (инцест, формы брака и сватовства). При этом речь шла почти исключительно о родовых обществах индо-тихоокеанского мира [Мелетинский 1963: 27; 1984; 1991; 1998]. Сопоставляя сказочную фантастику и этнографическую действительность, он, как и В.Я. Пропп, использовал любые повествовательные мотивы независимо от сюжетов, в которых они встречаются, и от территорий, где они зафиксированы.

В области интерпретации сюжетов, жанров и тем фольклора и мифологии примеры такого рода легко умножить. В основе предлагавшихся схем чаще всего лежало и лежит представление об обусловленности явлений культуры либо эпохальными социальными изменениями, либо спецификой разума и души вне времени и пространства. С этим связана идея своего рода самозарождения одинаковых эпизодов и образов в традиционном фольклоре. Для одних — когда общество достигает соответствующей стадии, для других — независимо от уровня общественного развития, в силу особенностей нашей психики. Авторы соответствующих гипотез не пытались критически осмыслить свои построения, а лишь приводили факты в их пользу. Подобный подход методически ошибочен, хотя по-человечески понятен — пусть время покажет, кто прав. Проблема, однако, в том, что факты, которые соответствующим гипотезам противоречили, лежали и лежат на поверхности. Данные о мировом распределении практически любых мотивов (а к середине XX в. таких данных накопилось уже достаточно много) невозможно совместить ни с предположением об их универсальности, ни с гипотезой их обусловленности формами социальной организации.

Задача науки состоит в том, чтобы узнавать новое о мире. Важным критерием правильности того или иногда подхода является возможность в понятной для неспециалиста форме рассказать о новых открытиях. Что же до тезиса Куна по поводу новых парадигм, которые стирают предшествующие, после чего все учебники переписываются, то он ложен. Учебники не переписываются, а создаются после того, как возникает новая дисциплина. Ньютон не предложил новую парадигму — до него нормальной физики просто не было, как ранее конца 1990-х гг. не было популяционной генетики. Эйнштейн же не отменил Ньютона, а квантовая хромодинамика не отменила Эйнштейна — с конца XVII в. идет нормальный процесс накопления фактов и расширения горизонта знаний. Если новая теория игнорирует предшествующую и начинается с нуля, как в культур-

ной антропологии это произошло с психологизмом или с левистровским структурализмом, то либо сама новая теория не-научна, либо мы все еще находимся в доньютоновском состоянии и соответствующая дисциплина не сформировалась.

Мне кажется, что научные теории сходят со сцены в той мере, в какой они не являются научными. Ошибочность или справедливость того или иного подхода есть величина статистическая, а не абсолютная. Подход, благодаря которому стало известно то, о чем раньше известно не было, не устаревает до тех пор, пока не оказывается, что полученное благодаря ему знание ошибочно. Некоторые теории могут долго сохраняться или быстро исчезать по идеологическим причинам, но это совершенно другое дело.

Библиография

- Грибовский В.В. Концепция волшебной сказки В.Я. Проппа и проблема историзма ногайского эпоса // Ногайцы: XXI век. История. Язык. Культура. От истоков — к грядущему: Мат-лы III междунар. науч.-практ. конф., г. Черкесск, 2–3 октября 2019 г. Черкесск: Карачаево-Черкесский институт гуманитарных исследований, 2019. С. 7–21.
- Мелетинский Е.М. Происхождение героического эпоса. Ранние формы и архаические памятники. М.: Изд-во восточной литературы, 1963. 462 с.
- Мелетинский Е.М. Об архетипе инцеста в фольклорной традиции (особенно в героическом мифе) // Фольклор и этнография. У этнографических истоков фольклорных сюжетов и образов. Л.: Наука, 1984. С. 57–62.
- Мелетинский Е.М. Аналитическая психология и проблема происхождения архетипических сюжетов // Вопросы философии. 1991. № 10. С. 41–47.
- Мелетинский Е.М. Женильба в волшебной сказке (ее функция и место в сюжетной структуре) // Мелетинский Е.М. Избранные статьи: воспоминания. М.: Изд-во РГГУ, 1998. С. 305–317.
- Неклюдов С.Ю. Владимир Пропп: от «морфологии» к «истории» (к 75-летию опубликования «Исторических корней волшебной сказки») // Новый филологический вестник. 2021. № 2 (57). С. 100–132.
- Dundes A. Earth-diver: Creation of the Mythopoeic Male // American Anthropologist. 1962. Vol. 64. No. 5. Part 1. P. 1032–1051.
- Schurtz H. Altersklassen und Männerbünde, eine Darstellung der Grundformen der Gesellschaft. Berlin: Druck und Verlag von Georg Reimer, 1902. 458 S.

ДМИТРИЙ БОНДАРЕНКО

1

Я думаю, что да, ощущается. Некогда дисциплина, занимающаяся этнографическим изучением культур бесписьменных обществ, антропология к настоящему времени расширила свои границы во всех отношениях (с точки зрения охвата и типов обществ и аспектов их бытия) настолько, что о ней повсюду говорят как о некоей «метанауке», по сути науке обо всем в мире сущем. Утратив специфику проблемной области, антропология вроде бы еще сохраняет свою идентичность через осознание себя как дисциплины, в основе которой лежит особый метод исследования — полевой (кстати, не бывший органически присущим ей в момент зарождения и в первые десятилетия существования). Однако все-таки сохранение антропологии как особой науки в наше время возможно прежде всего через утверждение в ней «большой антропологической теории». Подчеркну, что в моем понимании «большая теория» не какое-то обязательное для всех антропологов «единственно верное учение», будь то учение глобальное, как марксизм-ленинизм, или более привязанное к антропологической науке, как, скажем, советская теория этноса в 1970–1980-е гг. Скорее эта «большая теория» должна помочь антропологам осознать границы своей дисциплины и быть не теорией в прямом смысле слова, а определенной научно-философской рамкой, очерчивающей границы антропологии, в пределах которых на единой основе понимания того, что такое антропология, будут развиваться различные «большие» и «небольшие», но именно антропологические теории.

2

Да, происходят, хотя эти изменения еще малозаметны. Однако становится все более очевидно, что постмодернизм, ставший последним на данный момент мощным течением в антропологии и задавший тенденцию движения «от теории к описанию», близок к исчерпанию своего потенциала, а потому

все больше антропологов задается вопросом: «Что будет после потмодернизма?» В частности, симптоматичным можно считать проведение секции под названием «Возвращение к объяснению в антропологии: есть ли будущее после постмодернизма?» (Return to Explanation in Anthropology: Is There a Future after Postmodernism?) на ежегодной конференции Американской антропологической ассоциации в 2019 г. Мне кажется, что все больше антропологов приходит не только к осознанию невозможности существования науки без теории, но и к пониманию бесперспективности, тупиковости пути превращения антропологии из общественной науки в вид литературного творчества, с одной стороны, и форму социального активизма — с другой. Возможность же получения антропологической теоретической мыслью нового импульса видится им в восстановлении существенно подорванной ныне веры в возможность объективного познания культур и как следствие — в реабилитации сравнительно-исторического метода исследования, да и собственно исследования культур (а не их описания или авторской рефлексии по их поводу) как задачи и смысла деятельности антрополога.

3

Я не могу считать себя знатоком состояния дел во всех многочисленных, если не бесчисленных, антропологических субдисциплинах. Из тех, положение в которых я представляю себе, выделил бы социальную археологию (в рамках *four-field approach*, как известно, археология выступает как раздел антропологии) и проблемно-тематически связанные с ней сегменты социальной и политической антропологии. Из теорий в этих областях я бы выделил теории гетерархии, сетевой и корпоративной стратегий, коллективного действия.

4

Очень короткий, но честный ответ: по ситуации — в зависимости от конкретной научной задачи в том или ином случае. Но в целом считаю себя приверженцем и последователем «большой теории» — социальной эволюции (в ее развивающемся с середины 1990-х гг. нелинейном варианте, который я бы назвал постнеоэволюционистским), в рамки которой вписываются «локальные» теории, в том числе «собственного производства», к которым я обращаюсь в зависимости от проблематики конкретного исследования.

5

Самые «живучие» теории — те, которые наиболее полно отражают общее мировоззрение своей эпохи: они утрачивают влияние только со сменой исторических периодов. Ведь история теоретической научной мысли — часть интеллектуальной истории, естественно, тесно связанной с историей социально-экономической и политической. Поэтому так мощен и живуч был классический эволюционизм — он отражал в науке эволюцио-

нистский характер мышления западного человека той эпохи; эволюционизм был, по выражению одного из моих учителей в университете А.А. Никишенкова, «интеллектуальной формацией». Такой же «интеллектуальной формацией» в современную эпоху является постмодернизм, и именно поэтому он столь силен в литературе, искусстве и общественно-гуманитарных науках, в том числе в антропологии.

ГАБРИЭЛА ВАРГАС-ЦЕТИНА

Антропологическая теория в XXI веке: социально-политические реалии vs стремление к знанию

Начну с того, что на антрополога я училась в Мексике и Канаде, сейчас работаю в одном мексиканском университете и ранее была приглашенным профессором в нескольких университетах США, Италии и Испании. В этих странах я преподавала, участвовала в коллективных проектах и провела длительные полевые исследования в провинции Альберта (Канада), штатах Юкатан и Чьяпас (Мексика), на острове Сардиния (Италия) и в Андалусии (Испания). Поэтому, когда я смотрю на антропологическую теорию и ее значимость, в поле моего зрения попадают главным образом Северная Америка (Мексика, Канада и США) и Европа (в первую очередь Италия и Испания), где я постоянно работаю с коллегами и студентами.

Как мы можем помыслить себе теорию в антропологии сегодня и в ближайшем будущем? По своему происхождению антропология — колониальная дисциплина. Национальные государства нанимали антропологов как помощников в строительстве национальных модерностей. Антропология способствовала процессам колониализации внутри многих государств, например помогая концептуализировать разнообразие как продукт «племенных», а затем «этнических» идентичностей, которые нужно было либо приглушить, либо просто уничтожить, удовлетворяя потребность в «модернизации» сельских жителей, заставляя их принять

Габриэла Варгас-Цетина

Автономный университет Юкатана,
Юкатан, Мексика
gabriela.vargas@correo.uady.mx

национальные языки, идеи и образы жизни. Рассматривать сельских жителей и целые территории как часть культурных ареалов, которые могли вступить в контакт с жителями других культурных ареалов, антропологам помогали идеи европейской фольклористики и — в обеих Америках — боасовской антропологии. Подобный подход оказался полезен при создании репрезентаций и идеалов «нации», о которых писали интеллектуалы социальных наук, журналисты и в целом представители новых грамотных социальных слоев [Anderson 1983]. Было время между 1970-м и концом 1990-х гг., когда казалось, что в мире растет уровень демократии. Важно заметить, что этому общему ощущению во многом способствовала марксистская теория в ее разных изводах. Даже во времена правления Рональда Рейгана (1981–1989), Джорджа Буша (1989–1993) и Джорджа Буша младшего (2001–2009) в США и Маргарет Тэтчер (1979–1990) в Великобритании антропологическая теория в этих странах, как и везде, достигла немалых успехов в признании культурного, группового и гендерного разнообразия и видов структурного неравенства, превращая их в отправную точку своих теоретических и этнографических изысканий. В Испании поворот антропологии к подобным идеям стал возможен после смерти Франсиско Франко, если не был напрямую мотивирован кончиной этого диктатора, державшего страну в узде с 1939 по 1975 г. После смерти Франко в 1975 г. возможность использовать марксистские или связанные с марксизмом концепты и идеи захлестнула антропологические факультеты Испании. А тот тип культурной антропологии, которой сейчас занимаются в обеих Америках, с ее акцентом на политику идентичности и культурное разнообразие, как говорят мои испанские коллеги, здесь начали осваивать в 1990-е гг. В Канаде культурная антропология всегда находилась под сильным влиянием теоретических веяний Великобритании, Франции и США, сохраняя при этом этнографический фокус главным образом на национальных проблемах. Значимыми полями для антропологической работы здесь, как и в Мексике, были и остаются места проживания коренных народов. В Мексике культурную антропологию старой школы марксистские исследования сместили в 1970-е гг., а в 1990-е многие антропологи здесь также стали обращаться к различным направлениям так называемой *пост-модернистской антропологии*.

1

Это сложный вопрос. Сегодня в Южной и Северной Америке, Италии, Испании ценится разнообразие теорий. Местные антропологи разделяют с другими учеными любовь к систематической фиксации материала и некоторый скептицизм по отношению к явлениям, которые не получают ясного объяснения из научных или социологических данных. В то же время нас продолжают

радовать те изменения, которые принесла во все разделы антропологии постструктуралистская теория. Противоборствующие во времена культурных войн 1980-х гг. силы наконец поняли, что лучше заимствовать идеи и концепты, когда это необходимо, чем мешать рождению новой мысли. В прошлом мы изучали социальные структуры и культуру через призму структурного функционализма, унаследованного от Эмиля Дюркгейма и Макса Вебера, или культурного релятивизма Франца Боаса, классового конфликта, восходящего к работам Карла Маркса, или полукультурного-полубиологического подхода, доставшегося нам от Клода Леви-Строса. Так, изначально антропологический анализ был сосредоточен на выявлении долговременных, кажущихся стабильными характеристик общества и культуры. В свою очередь, постструктуралистские мыслители, наравне с французской школой историографии «долгого времени» (The Long Durée), основанной Фернаном Броделем, дали нам возможность определить как основу для этнографии и истории скорее изменяющееся, чем стабильное. Мишель Фуко пролил свет на историчность таких понятий, как «пол», «гендер», «безумие» и «дисциплина», заставив нас задуматься о самом понятии «правительство» (*government*), включая то, как в процессе управления понимают свою роль управляющие. Жан-Франсуа Лиотар, Жак Деррида, Жиль Делез и Феликс Гваттари позволили нам увидеть антропологию как особый стиль письма и мышления, переплетенный с другими формами мысли, выражения и ощущения. А Бродель, в частности, показал, что изменения происходят одновременно с разной скоростью, позволяя мимолетным стечениям обстоятельств и непродолжительным историческим событиям сосуществовать в рамках таких длительных исторических периодов, как феодализм и капитализм [Lee 2017]. Все эти мыслители считали антропологию важной частью мозаики знания: пока мы одним глазом смотрим на теорию, другим мы следим за повседневностью, чтобы постичь происходящие перемены. Антропологию сильно изменили феминизм и гендерная теория, которые подчеркнули существующее в обществах разнообразие культур и личностей и проложили путь к признанию нашей дисциплины как одной из главных социальных и гуманитарных наук. Антропологи сыграли ключевую роль в осознании того, что гендер культурно сконструирован. Фуко и более поздние исследователи, например Джудит Батлер и Гаятри Спивак, подняли антропологические проблемы до уровня философских: что такое пол? Что такое гендер? Можем ли мы мыслить вне этих категорий? Что такое колониальность? Возможно ли мышление извне или за пределами колониальных структур? В этот широкий контекст вписываются постколониальный и деколониальный подходы, которые нашли признание у многих

антропологов. Современными сдвигами в антропологической теории, происходящими под влиянием идей Джудит Батлер, Рози Брайдотти и Донны Харауэй о постчеловекоцентричном видении мира, мы обязаны нашему более открытому антропологическому подходу — многие общества по всему миру не считают человека главным или даже наиболее значимым видом на земле. Как мы пришли к такой необычной идее? Культурный релятивизм — это чрезвычайно важный и плодотворный метод изучения всех обществ, включая наше собственное и его науку. Таким образом, фундаментальные идеи, которыми мы руководствуемся, — это культурное и групповое разнообразие и постоянные изменения как главные силы общества. Мы воспринимаем неравенство и дискриминацию как социальные и культурные *проблемы*, которые не обусловлены биологически и должны быть решены. Иными словами, мы работаем в рамках такой теоретической парадигмы, которая является постструктуралистской, постколониальной, культурно релятивистской и в высшей степени политической. Этой всеобъемлющей теорией сегодня движимо большинство антропологических полевых исследований, так что у нас есть своего рода «большая теория», общая для большинства этнографических исследований. В рамках этой масштабной концептуальной схемы, которую Фуко раскритиковал бы как *эпистему*, уже более сорока лет процветает культурная антропология, значительно повлиявшая на ее создание и распространение. Однако именно эту эпистему в настоящем, похоже, намерены подорвать многие национальные правительства. Сегодня наш мир склоняется к популизму, как левому, так и правому. Из 167 стран, рассмотренных исследовательским подразделением The Economist Intelligence Unit британской издательской группы The Economist Group, только 24 страны, признанные полноценными демократиями, имеют надежную систему сдержек и противовесов в отношении исполнительной власти (обычно она принадлежит одному человеку). Остальные национальные государства The Economist определил либо как несовершенные демократии, либо как гибридные или авторитарные режимы [Economist Intelligence Unit 2024]. Множество раз мы наблюдали: когда граждане выбирают лидеров-популистов, они позволяют рушиться демократическим идеалам и институтам. В популистских режимах наука и образование часто уходят на задний план и иногда даже расцениваются как противоречащие *реальным* проблемам и интересам *простых людей* [Urbinati 2019: 63]. Этому можно найти бесчисленное количество примеров по всему миру, но достаточно и двух недавних: в США правительство штата Флорида попыталось запретить все курсы, на которых обсуждаются гендер, раса и разнообразие [Patel 2024], и в январе 2024 г.

социология и курсы по разнообразию и инклюзивности были исключены из программ общего образования и списка основных дисциплин [Thomas 2024]. А в Мексике Совет по науке и технологиям поддержал популистское правительство, пришедшее к власти в 2018 г. В частности, он полностью реорганизовал Центр исследований и преподавания экономики (CIDE), чтобы их программы соответствовали только тем теориям и методологиям, которые одобрены правительством [Mistry 2021]. В политических режимах, ограничивающих всеобщий доступ к образованию, культуре, здравоохранению, социальному обеспечению и правосудию, интересы правящей фракции, особенно представленной исполнительной властью, играют главенствующую роль. Оригинальность и разнообразие мышления, языка, личного и группового самовыражения становятся подозрительными или даже подавляются. Социальный климат, царящий в мире и национальных государствах, влияет и на антропологию.

2

Совершенно верно, общий принцип, который я схематично описала выше, заставил антропологов воспринимать свои этнографии как результат рефлексивного сотворчества, так что теперь в них всегда есть теоретическая позиция и тщательно разработанные концепции, которые сопровождают подробное описание. Эта позиция и это описание являются продуктом интерсубъективных договоренностей между антропологами и местными жителями. В XXI в. антропология, по крайней мере лучшие этнографические работы, сумела обнажить свои теоретические предпосылки, так что описание стало восприниматься как очевидно сконструированное, а не состоящее из каких-то естественных, говорящих сами за себя «данных», которые стоило лишь «записать» и расшифровать. Наряду с привычным этнографическим переключением между субъективным и структурным, в современных этнографиях также обнаруживается напряжение между глобальным и локальным и между диахроническим и синхронным развитием. Среди прекрасных этнографических работ, совмещающих в себе все эти три измерения, можно вспомнить, к примеру, работы Кори Хейден [Hayden 2003], Анны Цзин [Tsing 2005; 2015], Прии Сринивасан [Srinivasan 2012; 2020], Стеффана Игоря Айора-Диаса [Ayora-Diaz 2012], Мари Франс Лабрек [Labrecque 2015], Эдуардо Кона [Kohn 2013] и Нахайейли Хуарес Хуэт [Juárez Huet 2019]. В этих книгах демонстрируется теоретическая основа, и в то же время в них уделяется пристальное внимание сообществам и историческим событиям, как местным, так и более широким. Моя собственная этнография мексиканской музыки трова (*trova*) [Vargas-Cetina 2017] — шаг в этом же направлении.

3

По своей сути антропология всегда была междисциплинарной. Она заимствует теории и методы из других дисциплин и смешивает их с методами, разработанными антропологами. Поэтому, пожалуй, у каждого ученого здесь будет свое мнение насчет того, какие направления антропологии сейчас представляют наибольший интерес. Отвечу лишь за себя. В 2000 г., когда мы с моим мужем и коллегой Стеффаном Игорем Айора-Диасом стали работать на антропологическом факультете Автономного университета Юкатана (UADY), мы заинтересовались антропологией чувств и эмоций. Наш коллега Франсиско Фернандес Репетто тогда получил степень PhD по визуальной антропологии. В 2005 г. втроем мы создали «Лабораторию чувств» (Laboratory of the Senses). Мы писали заявки на гранты, чтобы купить диктофоны, фото- и видеокамеры, кухонную технику и утварь, а также необходимое программное обеспечение. Кроме того, это означало разработку силлабусов по визуальной антропологии, антропологии звука и еды. С тех пор этими темами, а также антропологией перформанса мы занимаемся как исследователи и преподаватели. В течение какого-то времени мы просили коллег представлять свои работы на схожие темы на семинарах, коллоквиумах и конференциях. Юкатан славится своей музыкой, едой и театром. Это популярные темы для местной литературы, телевидения и туризма. Так что в конце концов, часто встречая их в своем материале, несколько наших коллег заинтересовались этими темами. В настоящее время на нашем антропологическом факультете установилась прекрасная рабочая атмосфера — чувственная и эмоциональная сторона жизни и перформанса изучаются здесь с точки зрения антропологии, археологии и истории. Также на наших семинарах, посвященных этим общим темам, иногда выступают коллеги, занимающиеся исследованиями литературы, коммуникаций и туризма. Тем временем некоторые из нас, включая меня, стали больше интересоваться перформансом, и теперь пять учебных программ на антропологическом факультете в UADY («Антропология», «Археология», «История», «Социальные коммуникации», «Испаноязычная литература») приглашают обучаться художников, музыкантов, кулинаров, писателей, создателей видеороликов и продюсеров (или тех, кто станет ими в процессе обучения или позже). Кажется, наша главная точка соприкосновения — это исследования еды, но искусство и чувства тоже помогли нам объединиться. Различные теории определяют каждый проект и теоретическую позицию в рамках соответствующих дисциплин, которыми мы занимаемся. Однако указать на более широкую связь между антропологией и другими исследованиями чувств, эмоций и перформанса нам всем одинаково интересно и важно. Многие подразделы антро-

4

пологии стремительно развиваются, например многовидовая антропология и антропология бизнеса, но в данный момент именно перечисленные направления, существующие на нашем факультете, я считаю плодотворными для своих интеллектуальных поисков.

Я работаю в рамках общей эпистемы, описанной выше. Спрашиваю людей об их точке зрения, пытаюсь понять ее и стараюсь занять промежуточную позицию между глобальным и локальным, субъективным и структурным, чтобы суметь объяснить, почему местная точка зрения отсылает к более масштабным проблемам и представлениям, существующим в мире. Для этого я должна постоянно читать как этнографические, так и теоретические работы, чтобы производить то, что некоторые ученые назвали «концептами среднего уровня» (*mid-level concepts*) [Amit et al. 2015]. Такие концепты могут быть использованы, чтобы структурировать и разъяснить тот материал, который мы создаем вместе с героями наших исследований. Также я обращаюсь к литературе, особенно художественной, чтобы найти примеры возможных миров и контекстов, отличных от тех, в которых работаю я, и наметить, как излагать идеи, использовать примеры и нарративные структуры, которые были бы интересны мне и другим людям. К примеру, в книге “Beautiful Politics of Music” я использовала местный концепт «политики белых перчаток» (*politics of white gloves*), противопоставляемый «уродливой политике» (*ugly politics*), чтобы сформулировать, как люди воспринимали то, что они делают, и каких последствий они ожидали. Десятки лет музыканты трова считались важнейшими представителями музыки Юкатана, но потеряли доступ к большой сцене. Пытаясь взять реванш, они использовали единственный метод, тогда казавшийся мне неэффективным. Чтобы осмыслить и объяснить эту ответную реакцию местных жителей, я позаимствовала концепты «целенаправленной кампании» (*focused campaign construction*) и «эффекта бумеранга» (*the boomerang effect*) из книги, написанной двумя политологами [Keck, Sikkink 1998]. Мне нравится, как ее авторы Маргарет Кек и Кэтрин Сиккинк заставляют нас думать о политике как о начале разговора между двумя противоборствующими сторонами, которые, в их случае, ссылаясь на международные организации и законы, оказывают давление на тех, кто не хочет принимать перемены. Однако, вместо того чтобы применять данные концепты в контексте разговора о транснациональном активизме, я обращалась к ним, чтобы исследовать локальные формы протеста и борьбы, которые также были окном для диалога между юкатанскими властями и музыкантами, исключенными из большой сцены и программ паблик-арта. В то же время я использовала как руководство по выстраиванию аргументации

и структуры книги роман Станислава Лема «Солярис». В романе Лема, который я читала по-итальянски, героиня Хари, материализующаяся на планете Солярис, может ходить, говорить и взаимодействовать с Крисом Кельвином, с которым они поженились на Земле до самоубийства Хари. Тем не менее единственная жизнь, которая доступна героине, — это та, что разворачивается в воспоминаниях Кельвина. Когда герой принимает присутствие Хари как часть своей жизни на Солярисе, они начинают создавать новые воспоминания, но Хари умирает всякий раз, когда добирается до воспоминания Кельвина о предыдущем дне. Мне показалось, это замечательно рифмуется с тем, что люди, кажется, понимали под музыкой трова. Они пытались создать новые песни, держась за воспоминания о том, чем эта музыка была для них раньше и что общество Юкатана ранее видело в ней. При этом многие из героев моей книги обладают лишь теми воспоминаниями, которые достались им от предыдущих поколений. В этом контексте было непросто сформулировать кампанию по переосмыслению музыки трова. Назвать ее традиционной — значит обидеть старшие поколения музыкантов трова, так как в свое время они верили, что создали самую современную музыку в мире. В итоге кампания остановилась на именовании музыки трова «классической музыкой Юкатана». Сейчас я работаю в городе Севилья на юге Испании с музыкантами, сопровождающими религиозные процессии. Пока я обдумываю несколько локальных концептов, чтобы найти способ объяснить местную точку зрения, и несколько концептов среднего уровня из теорий социальных и гуманитарных наук. Мне еще предстоит найти хороший роман, фильм, пьесу, картину или музыкальное произведение, которые могли бы составить план моей будущей книги.

5

Предлагая ответить на вопросы «Форума», организаторы, по всей видимости, подразумевали, что в прошлом коммунизм навязал представителям естественных и социальных наук, включая антропологов, марксистскую теорию или какой-то особый марксистский стиль рассуждения. Сейчас мы находимся на том пороге, когда политики и сочувствующие им люди пытаются отсеять неудобные теории и навязать те, которые им на руку. Мы наблюдаем (признаюсь, с ужасом), как являет себя одна из главных причин, по которой одни теории долговечнее других: по сути, нас заставляют использовать какие-то теории, даже если они не могут объяснить или помочь нам понять то, что мы переживаем, фиксируем и создаем совместно с героями исследований. В итоге студенты, которые взрослеют, имея возможность использовать лишь политически одобренные теории, начинают воспринимать их как истинные и научные. В конце концов теория — это глубокая вера в конкретное устройство

мира, разворачивающиеся в нем процессы и возможное будущее. Единственный способ усомниться в нашей собственной точке зрения — иметь другие, с которыми ее можно было бы сопоставить. К счастью, нам также известно, что в прошлом такие личности, как Теодор Адорно, Ханна Арендт и Герберт Маркузе, и такие творцы, как Федерико Гарсиа Лорка, противостояли навязываемым в их время теоретическим и художественным парадигмам. Будем надеяться, что и у нас достанет сил, чтобы, преодолев страх, последовать их примеру и, что бы ни случилось, оставаться свободными мыслителями.

Библиография

- Amit V., Anderson S., Caputo V., Postill J., Reed-Danahay D., Vargas-Cetina G. Thinking through Sociality: The Importance of Mid-level Concepts // Amit V. (ed.). Thinking through Sociality: An Anthropological Interrogation of Key Concepts. New York; Oxford: Berghahn, 2015. P. 1–20.
- Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism; London; New York: Verso, 1983. 256 p.
- Ayora-Díaz S.I. Foodscapes, Foodfields, and Identities in Yucatán. Oxford; New York: Berghahn, 2012. 311 p.
- Economist Intelligence Unit. Democracy Index: Conflict and Polarisation Drive a New Low for Global Democracy // Economic Intelligence. 2024, 15 Feb. <<https://www.eiu.com/n/democracy-index-conflict-and-polarisation-drive-a-new-low-for-global-democracy/>>.
- Hayden C. When Nature Goes Public: The Making and Unmaking of Bioprospecting in Mexico. Princeton, NJ; Oxford: Princeton University Press, 2003. 312 p.
- Juárez Huet N.B. Dos narizones no se pueden besar: Trayectorias, usos y prácticas de la tradición orisha en Yucatán. Mérida: Universidad Nacional Autónoma de México and Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2019. 230 p.
- Keck M.E., Sikkink K. Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1998. 228 p.
- Kohn E. How Forests Think: Toward an Anthropology beyond the Human. Los Angeles, CA: University of California Press, 2013. 288 p.
- Labrecque M.F. La migration saisonnière des mayas du Yucatán au Canada: La dialectique de la mobilité. Québec: Presses de l'Université Laval, 2015. 458 p.
- Lee R.E. Lessons of the Longue Durée: The Legacy of Fernand Braudel // Historia Crítica. 2018. No. 69. P. 66–77. doi: 10.7440/histcrit69.2018.04.
- Mistry E. Standoff after New Leader Imposed on Mexican Economics Institute // The Times Higher Education. 2021, 14 Dec. <<https://www.times-highereducation.com/news/standoff-after-new-leader-imposed-mexican-economics-institute>>.
- Patel V. Republicans Target Social Sciences to Curb Ideas They Don't Like // The New York Times. 2024, 21 Nov. <<https://www.nytimes.com/2024/11/21/us/florida-social-sciences-progressive-ideas.html>>.

- Srinivasan P.* Sweating Saris: Indian Dance as Transnational Labor. Philadelphia, PA: Temple University Press, 2012. 221 p.
- Srinivasan R.* Courting Desire: Litigating for Love in North India. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2020. XIII+197 p.
- Thomas Z.* Florida Removes Sociology From General Education, Bans State Funding for DEI Programs // The Independent Florida Alligator. 2024, 25 Jan. <<https://www.alligator.org/article/2024/01/florida-removes-sociology-from-general-education-bans-state-funding-for-dei-programs>>.
- Tsing A.L.* Friction: An Ethnography of Global Connection. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005. XIV+321 p.
- Tsing A.L.* The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins. Princeton, NJ; Oxford: Princeton University Press, 2015. XII+331 p.
- Urbinati N.* Me the People. How Populism Transforms Democracy. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2019. 273 p.
- Vargas-Cetina G.* Beautiful Politics of Music: Trova in Yucatán, Mexico. Tuscaloosa, AL: University of Alabama Press, 2017. 216 p.

Пер. с англ. Александры Захаровой

АЛЕКСЕЙ ГОЛУБЕВ

Я бы хотел начать свой ответ выражением благодарности редакции «Антропологического форума» за приглашение меня к участию в «Форуме». Я принял его не без некоторого смущения, поскольку и по образованию, и по профессии являюсь не антропологом, а историком. И хотя наши дисциплины можно, несомненно, рассматривать как близкородственные концептуально и институционально, нельзя отрицать, что между ними есть и существенная разница. Взять хотя бы тот факт, что история гораздо легче ангажируется под ту или иную политическую повестку, или то, что в ней до сих пор не изжита теория «героя и толпы». В то же время я считаю, что дисциплинарные границы в значительной степени условны; замечать их или нет — вопрос, относящийся не столько к производству научного знания, сколько к поддержанию академических условностей, контроля и иерархий. Именно поэтому я всегда старался игнорировать эти границы в собственной научной работе и вести диалог не только с коллегами по историческому

Алексей Голубев

Хьюстонский университет,
Хьюстон, США
golubevalexei@gmail.com

цеху, но и с представителями других дисциплин, в том числе антропологами. И небезуспешно, если судить по тому, что «Новое литературное обозрение» опубликовало русский перевод моей книги «Вещная жизнь: материальность позднего социализма» под рубрикой «Антропология», о чем я узнал уже постфактум (я бы все же классифицировал ее как историческое исследование) [Голубев 2022].

Впрочем, одну оговорку, связанную с дисциплинарными различиями, я все же должен сделать: поскольку я не претендую на принадлежность к антропологической профессии, то мне сложно отвечать на те заостренно-дисциплинарные формулировки вопросов, которые предложили организаторы «Форума». По договоренности с ними я вызвался обсудить чуть более общие вопросы применения теории в гуманитарных исследованиях, которые отразили мою собственную траекторию — я работаю в американском университете с 2017 г. после программы PhD в Канаде и девяти лет научной карьеры в России. Но именно за счет этого, я надеюсь, моя точка зрения может быть интересна в том числе русскоязычному антропологическому сообществу. Для этого я хочу вначале поделиться некоторыми соображениями о том, как и зачем мы используем теорию в гуманитарных науках в принципе.

Даже самые поверхностные наблюдения над использованием тех или иных теорий в гуманитарных исследованиях показывают, что далеко не всякое использование теории обусловлено соображениями эпистемологического характера. Как и любая другая комплексная деятельность, цитирование вообще и выбор теоретических рамок в частности являются социальной практикой. Об этом, собственно, уже написана масса работ, в том числе на российском материале [Merton 1968; Bourdieu 1988; Lamont 2009; Соколов, Титаев 2013]. Сразу отмечу, что, благодаря профессиональной специфике научного поля, функционирование в нем теоретического знания никогда не является *только* социальной практикой, но об этом чуть позже. Как социальная практика использование той или иной теории исследования связано не столько с материалом, сколько с поддержанием структур научной жизни, включая международные связи, дисциплинарные иерархии, обособленные сообщества и т.п. В этом отношении выбор той или иной теоретической концепции часто ценен не ее эвристическим потенциалом применительно к эмпирическому материалу, а возможностью быстрого встраивания в глобальную академическую сеть и получения доступа к ее ресурсам, как интеллектуальным, так и материальным. Каким бы интересным ни был собственный материал и наработки, практически невозможно получить престижный европейский грант или американскую стажировку или

опубликовать статью в ведущем международном журнале, если рецензенты не увидят в разделе «теоретические основания исследования» знакомые фамилии и узнаваемые формулировки. Теория становится членским билетом в загородный клуб «для своих». Или, точнее, пропуском в международный академический социальный класс, где «международный» почти всегда автоматически означает «западный».

И это, разумеется, делает использование теории политическим вопросом, поскольку в гуманитарных науках функционирование международного научного сообщества безвариантно ориентировано на страны Глобального Севера. Ученые из стран Глобального Юга давно проблематизируют те структурные условия, которые помогают воспроизводить международные иерархии знания [Said 1978; 1994; Spivak 1988; Chakrabarty 2000; Chakrabarti 2013]. Об этом же пишут многие исследователи из России и других постсоветских стран [Ушакин 2000; Гапова 2006; Tlostanova 2015; Бисенова, Мукашева 2020; Могильнер 2022; Dudko 2023]. При этом все разговоры о деколонизации гуманитарных и социальных наук очень медленно влияют на глобальный ландшафт знания, в том числе на академический канон теоретических подходов — тех самых, что служат основой большинства русскоязычных работ в гуманитарных и социальных науках. Как читатель и рецензент многочисленных русскоязычных академических текстов, я могу констатировать, что в них сложилась устойчивая модель, в которой авторы оперируют оригинальным и интересным материалом и имеют отличные исследовательские идеи, но когда дело доходит до академического письма, то вместо того чтобы сформулировать проблему через определение лакуны в своем исследовательском поле, авторы ссылаются на ту или иную «западную» теорию и используют свой материал в качестве иллюстраций тех или иных положений этой теории. Эта модель сводит научную ценность собственного исследования к тому, что оно превращается в еще одно подтверждение чужих теоретических рассуждений. У той модели есть важный политический аспект, который заключается в преодолении тенденции к национальной изоляции науки («эпистемическому суверенитету») и подтверждении приверженности международным научным связям. Однако он же слишком часто оборачивается уходом от поиска собственных концептуальных моделей. Платой за такой формат интернационализации оказывается самосубальтернизация.

1

2

Поэтому первый вопрос про необходимость «большой теории» я бы переформулировал немного по-другому: на мой взгляд, в социальных и гуманитарных науках действительно есть потребность в теоретических рамках, пересекающих границы как отдельных направлений, так и целых дисциплин, но эти рамки

должны представлять собой не некую цельную эпистемологическую систему (условный новый «изм», как когда-то структурализм), а новую модальность описания модерности как базового условия существования современных обществ и культур. Эта модальность заключается в признании модерности как глобального и децентрализованного феномена, описание которого нельзя сводить к методам и подходам, выработанным на материалах обществ Глобального Севера. Вместо этого описание децентрализованной модерности в ее исторических и современных проявлениях должно исходить из первичности и приоритета собственного материала — что сразу приводит нас ко второму вопросу. Первичность собственного материала и готовность выводить из него собственные теоретические схемы является отказом не от диалога с теориями, сложившимися в ином академическом контексте, а от заведомо подчиненного положения по отношению к ним. Это принципиальное условие для равного диалога, который, как правило, оказывается более продуктивным для обеих сторон, чем просто очередное подтверждение той или иной теории.

Почему именно внимание к модерности может играть ключевую роль в теоретическом переоснащении социальных и гуманитарных наук? В первую очередь из-за того, что политические, экономические, социальные и культурные проблемы, с которыми сталкиваются современные общества, начиная от усугубляющегося экономического неравенства на национальном и мировом уровне и заканчивая вооруженными конфликтами и вероятной климатической катастрофой, являются продуктами современного капитализма и идущих с ним в связке империализма, колониализма и национализма как ключевых аспектов модерности. Именно они, несмотря на все ожидания тридцатилетней давности — ожидания «конца истории», посткапитализма, триумфа демократии, политической рациональности и секуляризации, а также других иллюзий, последовавшие за окончанием холодной войны, продолжают определять современные условия жизни людей и сообществ как в локальных, так и в глобальных контекстах — то, что является предметом изучения социальных и гуманитарных наук. Например, возрастающий интерес к социалистической экономике несколько последних лет обусловлен осознанием того, что при всех ее недостатках плановая экономика, возникшая в СССР, и ее вариации в других социалистических странах представляют собой реальный исторический опыт альтернативы тем нынешним экономическим моделям, которые оказываются неспособными справиться ни с глобальным неравенством, ни с экологическими проблемами [Sanchez-Sibony 2014; Ironside 2021; Iandolo 2022]. Еще больше впечатляет рост исследований в области

переселенческого колониализма, где работают представители самых разнообразных дисциплин, в том числе историки, антропологи, социологи и экономисты [Schayegh 2024]. Эти исследования показывают, что структуры переселенческого колониализма никуда не исчезли и продолжают порождать такие насущные проблемы, как военизированное и повседневное насилие, неравенство, нищета и массовые заболевания, несмотря на многочисленные социальные и гуманитарные программы, академическую критику и сопротивление со стороны местных сообществ. По этой причине и сам переселенческий колониализм как теоретический концепт, и сложившиеся вокруг него интеллектуальные системы стремятся объяснить то, почему политическая риторика Просвещения с ее акцентом на права человека, равенство, экономический рост и образованность оказалась бессильной перед реальными практиками капитализма и империализма, маргинализирующими, эксплуатирующими и подчас физически уничтожающими целые сообщества и регионы.

3

Здесь я уже начал отвечать на третий вопрос про наиболее интересные направления и области исследования с точки зрения теоретических разработок. Мне наиболее интересны те из них, которые предлагают методологические инструменты, позволяющие анализировать структурные основания модерности. Это, как правило, подчеркнута междисциплинарные теории, свободно пересекающие дисциплинарные и субдисциплинарные границы. Здесь, наряду с исследованиями переселенческого колониализма, на одном из первых мест для меня оказываются постколониальные исследования, которые я нахожу аналитически и эвристически продуктивными как для моих исследовательских интересов (российская / советская история XX в.), так и для понимания современной ситуации, причем не только в социальной, экономической и политической сферах, но и в производстве научного знания. Тут важно отметить, что постколониальные исследования в силу специфики своего методологического аппарата стимулируют критическое отношение к сложившимся иерархиям знания [Said 1978; Spivak 1988]. Более того, в русскоязычном контексте существуют интеллектуальные традиции, создавшие большой массив текстов, которые анализируют империализм, колониализм и их живучесть в новых исторических условиях на дореволюционном, советском и постсоветском материале и которые создают много интересных пересечений с глобальными исследованиями колониальных и постколониальных ситуаций. Сюда можно отнести и дореволюционную критику имперской политики из либерального и социал-демократического лагеря [Ядринцев 1882; Ленин 1989], и антиколониальные работы первого десятилетия совет-

ской власти [Сафаров 1921; Покровский 1933 (1925)] (см. также [Golubev 2023]), и теорию и практику нациестроительства в республиках СССР [Арзютов и др. 2014], и советскую поддержку антиколониальной борьбы в странах Третьего мира [Iandolo 2022; Salazkina 2023], и, наконец, корпус работ, осмысляющих постсоциализм как постколониальную ситуацию [Ушакин 2011; Tlostanova 2015; Бисенова 2023]. Как следствие, теоретическая мысль в области постколониальных исследований развивается не в отрыве, а в непосредственной связи с теми историческими и современными формами (пост)колониализма, которые служат эмпирическим материалом для работ ученых из России и других стран бывшего СССР. Это, в свою очередь, способствует поиску оригинальных концептуальных и теоретических схем на собственном материале.

Другим важным теоретическим направлением для меня являются исследования материальности. Хотя «материальный поворот» в социальных и гуманитарных науках отсчитывает уже четвертый десяток (если считать его началом получившие широкую известность работы Дэниела Миллера, Джудит Батлер и Бруно Латура, а также сборник «Социальная жизнь вещей» под редакцией Арджуна Аппадурая [Appadurai 1986; Miller 1987; Butler 1993; Latour 1993]), его аналитический и эвристический потенциал еще далеко не исчерпан. Об этом свидетельствует неиссякающий поток новой литературы, показывающей, что индивидуальная и коллективная субъектность, социальная практика, формы культурного и политического воображения и даже идеология — ничего из этого нельзя описать и понять исключительно дискурсивно, без описания и понимания материальных условий, обуславливающих эти явления, и без их воплощения в объектах и, в буквальном смысле слова, в человеческих телах. Как и в случае с постколониальными исследованиями, важно отметить, что исследования материальности имеют корни и в русскоязычной критической традиции [Арватов 1925; Гинзбург 1927; Третьяков 1929; Гастев 1972], что позволяет работающим в этом поле авторам формировать неизбитые генеалогии собственных теоретических подходов [Kiaer 2008; Karova 2020; Голубев 2022].

Изучение материальных условий исторических и современных феноменов, равно как и (пост)колониальных ситуаций, неразрывно связано с марксистским анализом общества и культуры; ряд процитированных выше авторов либо напрямую работали в его рамках, либо, как Пьер Бурдьё, Джудит Батлер или Эдвард Саид, находились с ним в постоянном диалоге и заимствовали многие идеи из его теоретического аппарата. Мне глубоко интересен ранний советский марксизм с его повесткой радикального освобождения, которая легла в основу оригинальных

систем знания в социальных и гуманитарных науках. В истории, в частности, критический анализ дореволюционной колониальной политики и устойчивых структур переселенческого колониализма в рамках так называемой школы Покровского должен был гарантировать, что колониальное угнетение не будет воспроизводиться в современных условиях. Именно поэтому переход к сталинской государственнической модели в 1930-х гг. сопровождался дискредитацией и фактическим уничтожением этой научной школы [Golubev 2023; Тихонов 2024]. На стыке с ранним советским марксизмом находятся работы поколения «формального метода», которые оказываются все более и более востребованными как в русскоязычной, так и в глобальной научной среде [Ушакин 2016–2023]. Одновременно с этим нельзя не учитывать, что непосредственным (в том числе материальным) контекстом наших исследований является поздний капитализм, поэтому я нахожу чрезвычайно полезной марксистскую критику современного общественного воспроизводства, социального неравенства и классовых отношений. Важным фактором моего интереса к современному марксистскому анализу является, несомненно, и моя собственная научная среда, где многие из моих коллег, а также некоторые из самых сильных докторантов, приходящих в нашу программу PhD, работают в этой интеллектуальной традиции.

4

Последняя ремарка подводит меня к четвертому вопросу (который во многом перекликается со вторым) об использовании теории в собственных исследованиях. Выше я уже упоминал о том, что для меня в процессе исследования (как на полевом или архивном этапе, так и во время его письменного оформления) эмпирический материал обладает несомненным приоритетом, поскольку я ищу в нем некие концептуальные обобщения, претендующие на статус нового знания. Разумеется, каким бы оригинальным ни был наш материал сам по себе, ценность в плане производства нового знания он обретает только в процессе научной коммуникации. Теоретический аппарат исследования — это способ коммуникации с теми интеллектуальными направлениями, которые формируют меня как исследователя (что само по себе представляет непрерывающийся процесс). Эти направления помогают мне задавать материалу вопросы, ответы на которые будут интересны, как я надеюсь, моим собеседникам, поэтому теоретические рамки никогда не являются только способом объяснения материала, они одновременно и определение тех аудиторий, в рамках коммуникации с которыми я как автор надеюсь внести вклад в знание о той или иной исследовательской проблеме. Еще в аспирантуре я познакомился с расхожим мнением, что два исследователя, работающие с идентичным корпусом первоисточников, не напишут две

одинаковые работы на их основе, разве что они ограничены очень жестким набором исходных установок (что может случиться в закрытых научных сообществах, но там эта проблема решается по-другому, через централизованное распределение тем исследований). Понимание науки как процесса коммуникации знания объясняет эту ситуацию: наши гипотетические авторы нацелены на диалог с разными аудиториями, что заставляет их выбирать разные теоретические аппараты и задавать разные вопросы своим первоисточникам. Оно же показывает, почему без собственных разработок, которые могут принять форму отдельной теории или остаться на уровне концептуальных обобщений, нельзя рассчитывать на полноценный и равноправный диалог с международным научным сообществом. Использование оригинального эмпирического материала для подтверждения чьих-то концептуальных моделей автоматически воспроизводит квазиколониальную модель производства знания, когда исследователи из научной «метрополии» (а ею могут быть как западные научные центры по отношению к России и странам бывшего СССР в целом, так и московские и санкт-петербургские институты по отношению к остальной российской науке) воспринимают публикации «из региона» фактически исключительно как источники «сырых» данных. Альтернатива этой модели — искать собственные концептуальные модели, оставаясь при этом в диалоге с международными аудиториями, но уходя от научного экстрактивизма как академического способа существования. В этом плане творческая работа с теорией представляет собой уникальную возможность показать, как ваш оригинальный материал может быть интересен междисциплинарно, за пределами узкого круга специалистов, занимающихся смежными исследовательскими проблемами.

5

Понимание науки как процесса коммуникации научного знания позволяет ответить на пятый вопрос, пусть и в сугубо функциональной манере: «живучесть» или исчезновение теорий объясняются их способностью поддерживать и стимулировать научные дискуссии и диалоги. Учитывая, насколько иерархической является система научной коммуникации, «живучесть» теорий нельзя объяснить исключительно их эвристической и аналитической ценностью: в истории науки описана масса случаев, когда уже, казалось бы, отброшенная теория (например, теория флогистона после работ Антуана Лавуазье) продолжала функционировать в научном сообществе, пока не умерли ее последние сторонники. И наоборот, способность той или иной теории производить новое знание никогда не является гарантией против ее (полу)забвения (можно вспомнить, например, судьбу «Марксизма и философии языка» Валентина Волошинова [Воло-

шинов 1929], ключевые идеи которой остались на периферии русскоязычной гуманитарной мысли, поскольку последнюю почему-то больше интересует вопрос авторства этой книги, чем возможность прочтения ее основных положений о языке как социальной практике в диалоге с Людвигом Витгенштейном, Джоном Остином или Джудит Батлер). Это возвращает меня к тому наблюдению, с которого я начал мои ответы на вопросы организаторов «Форума»: теоретическое знание в науке функционирует не только эпистемологически, но и социально. Именно для того чтобы последний фактор не перевешивал и не становился самоцелью, иными словами, для децентрализации науки и слома ее иерархической модели, и нужно, повторюсь, работать над поиском собственных концептуальных схем и теоретических моделей, а не ретранслировать чужие.

Библиография

- Арватов Б. Быт и Культура Вещи // Альманах Пролеткульта. М.: Всероссийский пролеткульт, 1925. С. 75–82.
- Арзютов Д., Алымов С., Андерсон Д. (ред.). От классиков к марксизму: совещание этнографов Москвы и Ленинграда (5–11 апреля 1929 г.). СПб.: МАЭ РАН, 2014. 509 с.
- Бисенова А. (ред.). Qazaqstan, Казахстан, قازاقستان: лабиринты современного постколониального дискурса. Алматы: Целинный, 2023. 467 с.
- Бисенова А., Мукашева А. Колониальные интеллектuality: между просвещенческой и представительской ролью // Новое литературное обозрение. 2020. № 6. С. 445–459.
- Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка. Основные проблемы социологического метода в науке о языке. Л.: Прибой, 1929. 188 с.
- Гапова Е. Классовый вопрос постсоветского феминизма, или Об отвлечении угнетенных от революционной борьбы // Гендерные исследования. 2006. № 15. С. 144–164.
- Гастев А. Как надо работать: практическое введение в науку организации труда. 2-е изд. М.: Экономика, 1972. 243 с.
- Гинзбург М. Целевая установка в современной архитектуре // Современная архитектура. 1927. № 1. С. 4–10.
- Голубев А. Вещная жизнь: материальность позднего социализма. М.: НЛО, 2022. 326 с.
- Ленин В. О национальном вопросе и национальной политике / Под ред. Э.В. Тадевосяна. М.: Политиздат, 1989. 556 с.
- Могильнер М. Раса в России как фигура умолчания // Новое литературное обозрение. 2022. № 6. С. 220–234.
- Покровский М.Н. К вопросу об особенностях исторического развития России // Историческая наука и борьба классов. М.; Л.: Гос. соц.-эконом. изд-во, 1933. С. 206–247.
- Сафаров Г. Колониальная революция: опыт Туркестана. М.: Госиздат, 1921. 148 с.

- Соколов М., Титаев К. Провинциальная и туземная наука // Антропологический форум. 2013. № 19. С. 239–275.
- Тихонов В. «Деколонизация» истории народов СССР в советской историографии (1920–1930) // *Quaestio Rossica*. 2024. Vol. 12. № 1. P. 193–208. doi: 10.15826/qg.2024.1.873.
- Третьяков С. Биография вещи // Чужак Н.Ф. (ред.). Литература факта: Первый сборник материалов работников ЛЕФа. М.: Федерация, 1929. С. 68–72.
- Ушакин С. Gender (напрокат): полезная категория для научной карьеры // Муравьева М.Г. (ред.). Гендерная история: pro et contra. СПб.: Нестор, 2000. С. 34–39.
- Ушакин С. В поисках места между Сталиным и Гитлером: о постколониальных историях социализма // *Ab Imperio*. 2011. № 1. С. 209–233.
- Ушакин С. (ред.). Формальный метод: антология русского модернизма: В 4 т. Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2016–2023.
- Ядринцев Н.М. Сибирь как колония в географическом, этнографическом и историческом отношении. СПб.: Изд-во И.М. Сибирякова, 1882. 471 с.
- Appadurai A. (ed.). *The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. 329 p.
- Bourdieu P. *Homo Academicus*. Stanford, CA: Stanford University Press, 1988. 344 p.
- Butler J. *Bodies That Matter: On the Discursive Limits of “Sex”*. London: Routledge, 1993. 288 p.
- Chakrabarti P. *Medicine and Empire: 1600–1960*. London: Bloomsbury Publishing, 2013. 246 p.
- Chakrabarty D. *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000. 301 p.
- Dudko O. Gate-Crashing “European” and “Slavic” Area Studies: Can Ukrainian Studies Transform the Fields? // *Canadian Slavonic Papers*. 2023. Vol. 65. No. 2. P. 174–189. doi: 10.1080/00085006.2023.2202565.
- Golubev A. No Natural Colonization: The Early Soviet School of Historical Anti-Colonialism // *Canadian Slavonic Papers*. 2023. Vol. 65. No. 2. P. 190–204. doi: 10.1080/00085006.2023.2199556.
- Iandolo A. *Arrested Development: The Soviet Union in Ghana, Guinea, and Mali, 1955–1968*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2022. 312 p.
- Ironside K. *A Full-Value Ruble: The Promise of Prosperity in the Postwar Soviet Union*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2021. 320 p.
- Karpova Yu. *Comradely Objects: Design and Material Culture in Soviet Russia, 1960s–80s*. Manchester: Manchester University Press, 2020. 232 p.
- Kiaer C. *Imagine No Possessions: The Socialist Objects of Russian Constructivism*. Cambridge, MA: MIT Press, 2008. 326 p.
- Lamont M. *How Professors Think: Inside the Curious World of Academic Judgment*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009. 336 p.
- Latour B. *We Have Never Been Modern*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1993. 168 p.
- Merton R. The Matthew Effect in Science // *Science*. 1968. Vol. 159. No. 3810. P. 56–63.

- Miller D.* Material Culture and Mass Consumption. Oxford: Blackwell, 1987. 256 p.
- Said E.* Orientalism. New York: Pantheon Books, 1978. 368 p.
- Said E.* Culture and Imperialism. New York: Vintage Books, 1994. 416 p.
- Salazkina M.* World Socialist Cinema: Alliances, Affinities, and Solidarities in the Global Cold War. Oakland, CA: University of California Press, 2023. 388 p.
- Sanchez-Sibony O.* Red Globalization: The Political Economy of the Soviet Cold War from Stalin to Khrushchev. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. 294 p.
- Schayegh C.* Settler Colonial Studies: A Historical Analysis // Settler Colonial Studies. 2024. Vol. 14. No. 4. P. 470–497.
- Spivak G.* Can the Subaltern Speak? // Nelson C., Grossberg L. (eds.). Marxism and the Interpretation of Culture. Urbana, IL: University of Illinois Press, 1988. P. 271–313.
- Tlostanova M.* Can the Post-Soviet Think? On Coloniality of Knowledge, External Imperial and Double Colonial Difference // Intersections: East European Journal of Society and Politics. 2015. Vol. 1. No. 2. P. 38–58.

ТИМ ИНГОЛЬД

Пара слов о теории

На мой взгляд, теории — это не инструменты, которые мы используем, а разговор, к которому присоединяемся. Природа разговора, как и теорий, заключается в том, что он не имеет ни конца, ни границ и включает много голосов. Давайте представим каждый голос в таком разговоре как одну линию. Эти линии переплетаются, иногда завязываясь в плотный узел, иногда блуждая в поиске других линий, с которыми можно образовать другие узлы. Мы смотрим на один такой узел и называем его теорией. Однако если теории сопоставимы с узлами, они не являются вместилищами знания. У них нет границ. Они не могут быть более или менее открытыми или закрытыми. И их невозможно было бы отделить друг от друга и разделить на части или разместить на разных уровнях, от высшего к низшему, в какой-либо системе сегментации. Можно пытаться раскрыть теорию или распутать составляющие ее линии или голоса, но нельзя разделить ее на части.

Тим Ингольд

Абердинский университет,
Абердин, Великобритания
tim.ingold@abdn.ac.uk

Суть теорий как разговора — это то, что они позволяют объединяться в различии. Вы включаетесь в разговор не потому, что уже придерживаетесь общей с другими участниками точки зрения и стремитесь ее отстоять, а потому что у вас есть опыт и идеи, которыми можно поделиться. Вам есть что сказать, что дополнить, именно потому что все остальные еще *не* обладают этим знанием. Различие, таким образом, порождает общность. Но бывает и наоборот. Общность порождает различие, поскольку именно благодаря взаимодействию с другими голосами и обращению к ним за ответами каждый голос всегда обретает собственную силу. Теоретизировать, таким образом, значит вести нескончаемую борьбу против склонности знания и идей выпадать в осадок, распределяясь по разным сегментам, как по комнатам в замке, отделенным друг от друга стенами. Это борьба против превращения различий в застывшие границы.

Теоретизировать значит размышлять. Это тот вид импровизации в разговоре, когда вы одновременно разбираетесь в проблеме и пытаетесь сделать эти рассуждения понятными для себя и для всех остальных. Вот почему теоретизирование плодотворно для концептов. В ходе разговора концепты буквально «всплывают», придумываются. И находя отклик у других людей, они могут приобрести определенную ценность, в итоге став общепринятыми. Эти концепты даже могут переходить в другие разговоры. Однако данная диалектика нового и старого — это непрерывный процесс, в котором концепты и их значения всегда подлежат обсуждению. Закрепите идеи и концепты за жесткими определениями, и теория умрет. И конечно же, именно так теории обычно выглядят в учебниках. Читая учебники, студенты не учатся теоретизировать, мыслить, думать, дискутировать. Всё, что они получают, это обрывки разговоров, которые уже мертвы.

О чем же мы размышляем? Единственный вопрос, ответом на который движимы антропологические исследования, — это вопрос «Как нам следует жить?» Каждый образ жизни — это одна из попыток прожить эту жизнь, и цель антропологии — извлечь из данных попыток уроки, чтобы помочь нам в совместной работе по созданию условий и возможностей для жизни будущих поколений. Преследуя эту цель, мы не собираем данные *о других* людях, чтобы их описать. Скорее мы исследуем *вместе с ними*. Мы учимся у всего мира с его множественностью голосов, и мир становится нашим мультиверситетом. Учиться в мультиверситете — значит вовлекать наших собеседников в разговоры о том, как жить, признавая их основанную на опыте мудрость, которой они могут поделиться. И именно это отличает антропологию от других дисциплин, которые работают с так называемыми человеческими субъектами.

Представители этих других дисциплин, от медицины и психологии до экономики и истории, склонны рассматривать поведение людей, их взгляды и убеждения как материал для анализа. Они обращаются к тому, что говорят герои их исследования, не потому что это может быть важно само по себе и не потому что они могли бы узнать из этого что-то новое, но потому что эти данные могут стать свидетельством, говорящим что-то об этих героях, будь то их психическое состояние, предпочтения или предрасположенности, черты характера или усвоенная культура. Дисциплины, функционирующие таким образом, остаются приверженными «добывающей» модели производства знаний, воспринимают мир в целом как огромные залежи сырья, которое путем анализа и теории нужно собрать и переработать в так называемые результаты исследований, предназначенные для обогащения академической науки или для применения в сфере управления, промышленности и коммерции.

Такая «добывающая» модель по сути своей колониальна. Она поддерживает изначально укоренившееся в лоне академического колониализма антропологии разделение на «этнографию» и «теорию», где первая обеспечивает доказательную базу, а вторая — общую сравнительную схему. С болью признавая колониальное наследие своей дисциплины, сегодня многие антропологи отвернулись от теории. Этнография, по их мнению, должна говорить сама за себя. Тем не менее сводить антропологию к этнографии значит не только лишать ее собственного голоса, делая бессильной противостоять обобщающим нарративам более влиятельных дисциплин, для которых иные способы познания — всего лишь зерно для их мельниц. Это значит также сохранять политику маргинализации, исключая голоса героев этнографических описаний из более широкого разговора. Вот почему я считаю, что нам необходимо пересмотреть задачу антропологии. Она должна быть не этнографической, а образовательной.

Пер. с англ. Александры Захаровой

НИКОЛАЙ КРАДИН

1

Прежде всего следовало бы определиться, что организаторы «Форума» имеют в виду под «большой теорией». Одно дело, если речь идет о ключевых теориях антропологической науки, связанных с методами получения антропологического знания, таких как диффузионизм, функционализм, структурализм, культурный релятивизм и др. Воз-

Николай Николаевич Крадин

Институт истории, археологии
и этнографии народов
Дальнего Востока ДВО РАН,
Владивосток, Россия
kradin@mail.ru

можно, последней подобной действительно «большой» научной теорией был метод «насыщенного», или «плотного», описания К. Гирца. Будет ли что-то настолько же великое создано в обозримом будущем, сказать трудно. Может быть, это будет что-то связанное с возможностями искусственного интеллекта, позволяющее работать с большими данными математическими методами. А может быть, что-то иное.

Другое дело, если речь идет о представлениях антропологов о том, как менялись культура и общество с момента появления человечества. Здесь нужно признать, что первая схема была сформулирована еще в XVIII в. А. Фергюссоном и предполагала разделение общества на стадии «дикости», «варварства» и «цивилизации». Последняя «большая» теория была создана неозволюционистами во второй половине XX в. (Э. Сервис, М. Салинз, Р. Карнейро и др.). Она предполагала последовательное появление более сложных форм социальной организации от локальных групп охотников-собирателей до вожеств и государств оседло-земледельческих обществ. Последнюю четверть прошлого века часть антропологов и археологов пыталась опровергнуть те или иные компоненты этой схемы (племя, вожество, государство-нация) или скорректировать за счет введения дополнительных деталей конструкции (транзэгалитарные общества, гетерархии и др.). Однако суть представлений мало изменилась, и ее можно найти в любом антропологическом учебнике независимо от того, с какой группой (процессуалист, постмодернист и т.д.) идентифицирует себя автор попавшегося нам в руки пособия.

По всей видимости, в настоящее время серьезный прогресс в рассмотрении данной тематики может быть достигнут только посредством создания так называемых «теорий среднего уровня». Это идея, идущая от Р. Мертона, которая впоследствии в американской антропологии активно использовалась Л. Бинфордом. Под теориями среднего уровня принято понимать точные и простые теории, которые могут быть использованы для объяснения ограниченной совокупности фактов и явлений. Они не предназначены для всеобъемлющих объяснений и могут быть включены в теории более высокого уровня. Однако они могут иметь вполне самостоятельное значение для осмысления тех или иных аспектов мироздания. По всей видимости, теории среднего уровня могут выполнять функции «защитного пояса» парадигмы в терминологии И. Лакатоса.

2

Как следует из ответа на предыдущий вопрос, с моей точки зрения, здесь нет противоречия. Так называемое насыщенное, или плотное, описание также относится к «большими» теориям. Только это теория несколько иного плана. В качестве популяр-

ной «большой» теории можно привести глобальный проект по изучению всемирного обзора ценностей (WVS), одним из основных инициаторов которого был Р. Инглхарт. Эти данные собираются с 1981 г. до наших дней. И хотя у истоков проекта были социологи, антропологи также участвуют в обсуждении и интерпретации полученных данных. Думается, в настоящее время в антропологическом поле одинаково значимо как глубокое *описание*, так и большие антропологические *теории*.

3

Количество ежегодно публикуемых антропологических книг и статей на разных языках настолько велико, что трудно тщательно следить за всеми новинками и интересными работами. Полагаю, что уже давно большинство исследователей вынуждены сосредоточиться в основном на работах, близких собственной специализации. Уверен, что в каждой из антропологических субдисциплин периодически публикуются важные работы. Во всяком случае, регулярно наблюдаю новые книги на сайтах крупнейших научных издательств и рецензии на них в ведущих антропологических журналах.

В рамках политической антропологии можно говорить о двух разных тематических направлениях. Одно из них специализируется на политических процессах в так называемых посттрадиционных обществах, а также на изучении политики в современном мире антропологическими методами. Из работ последних десятилетий для меня лично стали важными книги М. Абелеса, М. Аронова, К. Колинз, Э. Крю. Небезынтересным представляется использование модели вожества для современных криминально-мафиозных организаций (П. Скальник, Т. Эрл, Г. Дерлугьян), сборник К. Крон-Хансена и К. Нустада о происхождении государств в наши дни, а также ревизия «Африканских политических систем» под редакцией А. Бошковича и Г. Шлее. На русском языке следует отметить серию работ по изучению цветных революций и тематические выпуски статей на схожую тему из «Антропологического форума».

Другое направление посвящено классической тематике — изучению институтов власти в первобытных и раннегосударственных обществах. Здесь вклад антропологов заключался в описаниях подобных обществ Нового и частично Новейшего времени, а также в синтетических теориях политогенеза второй половины XX в. В настоящее время инициатива в изучении таких обществ перехвачена археологами. Более того, считается, что этнографические аналогии между традиционными вожествами и государствами Нового времени и их древними аналогами не всегда точны. Более корректным представляется изучение «чистых» от примесей колониализма примеров из далекого прошлого и построение новых моделей комплексных обществ.

4

Будущее покажет, приведет ли это к созданию принципиально новых моделей социокультурной эволюции архаических обществ или же сохранятся с определенными дополнениями и оговорками ставшие привычными схемы неозволюционистских антропологов.

Из других важных теоретических достижений, смежных с антропологией доисторических обществ, хотелось бы отметить замечательный проект Ю.Е. Березкина по составлению огромной базы данных по фольклору народов мира. Картография сюжетов показывает пути возможных миграций в эпоху палеолита, и это является одним из значительных достижений отечественной антропологии и этнологии.

Все зависит от задач исследования. Для одних нужны «большие» теории, для других — «локальные», в некоторых случаях, чтобы решить проблему, нужно сформулировать новую гипотезу, которая в перспективе может стать базисом для новой теории. Меня лично в большей степени занимали крупные научные проблемы, поэтому интерес к теории был естественным. Начиная с середины 1980-х гг. меня интересовали общества кочевников-скотоводов. В то время в стране монопольно господствовала марксистская теория формаций. Поскольку кочевники плохо вписывались в модель феодализма, было стремление глубже разобраться в этой проблеме, что привело к идее особого *экзополитарного* (*ксенократического*) способа производства у номадов.

После смены общественного строя в стране и отмены марксистской монополии стало возможным использовать другие теории и подходы, которые бурным потоком хлынули в нашу науку. В политической антропологии особенно популярными оказались неозволюционистские теории *вождества* и *раннего государства*. Мы активно стали применять их к нашему эмпирическому материалу. Через некоторое время пришло осознание, что многие общества не вписываются в каноны новых для нас однолинейных схем. Постепенно это привело к созданию теории *многолинейной* эволюции, в разработку которой российские антропологи внесли важный вклад. В рамках этой парадигмы кочевники рассматриваются как самостоятельный этап социальной эволюции. Не менее интересно посмотреть на кочевой мир с точки зрения мир-системного анализа. В течение многих столетий номады являлись трансляторами информации между оседлыми цивилизациями. Они способствовали развитию торговых контактов, распространению религий, географических знаний и технологических обменов. Так или иначе, любая исследовательская парадигма отражает какой-то определенный аспект изучения объекта. В идеале стремящийся к объектив-

ности исследователь старается учесть разные стороны рассматриваемого явления. Однако силы и возможности ученого ограничены. Э. Эванс-Причард в «Нуэрах» образно сравнил исследователя с путником в пустыне, у которого кончаются запасы воды и пищи. Он видит перед собой таинственные, бескрайние дали, но вынужден вернуться назад.

5

Это непростой вопрос. С таким же успехом можно было бы задаться целью понять, почему одна статья становится популярной и высокоцитируемой, а другая не находит отклика у коллег. Могу предположить, что в отдельных случаях популярность тех или иных теорий может быть обусловлена определенной степенью близости взглядов донора и реципиентов. Иначе как еще объяснить высокую популярность теорий модернизации у постсоветских историков? В политической антропологии можно наблюдать схожее явление. С середины 1980-х гг. в нашей стране среди востоковедов, этнологов и африканистов стала популярной теория *раннего государства* Х. Классена и П. Скальника. Ее популярность сохранилась до сих пор, и на страницах журнала “Social Evolution & History” российскими и зарубежными исследователями периодически продолжают обсуждаться разные актуальные вопросы. Автор этих строк внес свою лепту в популяризацию данной теории.

В процессе углубленного анализа истории концепции оказалось, что впервые идея была обсуждена Х. Классеном и П. Скальником во время конгресса антропологов 1973 г. в Чикаго. После этого родился знаменитый проект «Раннее государство» и была опубликована знаменитая серия книг. Однако истоки идеи раннего государства были выработаны П. Скальником во время учебы в Ленинградском государственном университете. Понятно, что о феодализме в Африке не могло быть и речи. Термин «раннеклассовый» также казался неудачным в силу акцента на наличие «классов» и «классовой борьбы». В тот период большой популярностью пользовалась концепция «дофеодального общества» А.И. Неусыхина. Именно под ее влиянием молодой чешский исследователь пришел к идее «раннего государства». Впоследствии эти мысли были сформулированы им в квалификационной работе (это впоследствии подтвердил П. Скальник), а затем они были обсуждены и переработаны в целостную теорию совместно с Х. Классеном, который защитил по схожей тематике диссертацию в 1970 г. По всей видимости, именно поэтому положения теории *раннего государства* нашли благодатную почву в СССР / России и продолжают пользоваться определенной популярностью до наших дней. Вероятно, определенная близость к материалистическим интерпретациям истории определила и популярность теории *раннего государства* среди историков и антропологов Китая.

Приведу еще один пример из политантропологической тематики, но уже противоположного порядка. В середине 1960-х гг. американскими неоеволюционистами были сформулированы основные положения теории *вождества* (англ. *chiefdom*). Она была очень популярна в западной антропологии и археологии в 1970–1980-х гг. Позднее в рамках постпроцессуальной археологии появилось мнение о том, что данная концепция не отражает многообразия форм предгосударственных обществ, и в настоящее время исследователи осторожно предпочитают говорить о «комплексных обществах».

В отечественную науку этот термин вошел в 1979–1981 гг. благодаря нескольким подробнейшим обзорам по теории происхождения государства А.М. Хазанова и Л.С. Васильева. Хорошо помню свои первые выступления на институтских семинарах, когда меня старшие коллеги укоряли увлечением «буржуазными теориями». В 1995 г. я написал большой обзор объемом в несколько печатных листов по теории вождества. Это моя самая цитируемая статья по данным электронной библиотеки Elibrary.ru. Но только в этом миллениуме (т.е. спустя полвека после появления данного понятия!) термин «вождество» проник в славяноведение, и некоторые специалисты по истории Древней Руси стали его использовать в качестве альтернативы термину «племенное княжение». Тем не менее, как мне рассказывают коллеги, до сих пор некоторые рецензенты и редакторы разных журналов периодически требуют убрать непонятный или с их точки зрения не устоявшийся в науке термин из текста рукописи.

Ради интереса я обратился к сайтам примерно десяти университетов страны, где готовят археологов и читают курсы «Первобытное общество» (во избежание вероятной критики сразу оговорюсь, что выборка была случайной). Также я не стал смотреть программы по антропологии, поскольку нередко будущих антропологов готовят социологи, философы, культурологи. Результаты повергли меня в уныние. Во всех случаях, кроме одного, в программах по изучению первобытного общества продолжали присутствовать устаревшие теории XIX в. от матриархата до военной демократии. Сколько еще должно пройти лет, чтобы эти программы обновились хотя бы до уровня полувековой давности? Какими причинами можно объяснить «живучесть» устаревшей терминологии Л. Моргана и Ф. Энгельса до наших дней?

ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ

О «больших» и «малых» теориях
в разрезе истории науки

1

Все зависит от точки отсчета. Если думать, что социокультурная антропология всегда превалировала, то да, «новые» антропологии (медицинская, политическая, когнитивная, прикладная, визуальная и др.) действительно надо рассматривать в качестве ее более поздних ответвлений. Но, учитывая исключительную важность расового вопроса в дебатах, сопровождавших профессионализацию антропологии, возможно развернуть ракурс и так, что первой окажется биологическая (физическая) антропология. Альтернативным кандидатом на роль первопредка могла бы выступать также юридическая антропология, если принимать в качестве одного из ее отдаленных истоков (что на самом деле иногда и делают) диспут Лас Касаса — Сепульведы вокруг правового положения населения Нового Света, как и тот факт, что в фокусе внимания первого поколения эволюционистов (Дж. Мак-Леннана, Г. Мэна, И. Бахофена) находились именно вопросы брачного права. В дальнейшем же, как известно, антропологами в борьбе с биологизаторством была выработана теория (концепция) культуры, которую Джордж Стокинг Мл. [Stocking 1966: 879–880] называл главным достижением нашей дисциплины и предлагал считать аналогом парадигм, сделавших другие науки тем, чем они теперь являются.

«Изобретение», судьбоносное для истории антропологии и не только, безусловно выдвинуло соответствующую субдисциплину в центр, заставив считаться с ней другие, такие как антропологическая лингвистика, вылившаяся в дескриптивизм, который, в отличие от европейской компаративистики, уделял большее внимание проблеме «язык — культура»; биологическая антропология, в конце концов вовсе отказавшаяся от концепции расы в пользу культуры; экономическая антропология, породившая

субстантивистскую теорию в противовес классическому формализму, плохо согласующемуся с идеей примата культурных ценностей; постколониальная и феминистская антропологии, унаследовавшие и по-своему развившие культурный релятивизм. Однако эти связи дезинтегрировались в наступивший затем период в результате массивной деконструкции культуры.

Сегодня единство антропологии, четырехпольной (*four-field anthropology*), или лучше множественной, поддерживается почти исключительно на институциональном уровне. Всякого рода отраслевые программы и междисциплинарные центры до сих пор вторичны в сравнении со старыми департаментами антропологии, по крайней мере в университетах, которые остаются на слуху. При этом один антропологический департамент может оказаться вотчиной приматологов, по-прежнему считающихся биологическими антропологами, тогда как в другом будут доминировать археологи или медицинские антропологи и т.д.

Необходимость общей «большой» теории ощущается разве что в российском случае. Здесь в силу «особого пути» (нескольких десятилетий изоляции) советской этнографией были пропущены некоторые общемировые тенденции дисциплинарного развития. Отечественные ученые менее других участвовали в разработке концепции культуры, и в этом смысле уровень состояния отдельных субдисциплин, например того, что по традиции называют у нас антропологией (физической), можно охарактеризовать как допарадигмальный. Наблюдая за работой моей жены, вовлеченной в проект по исследованию людей с ограниченными возможностями здоровья, я столкнулся с тем, что две относительно молодые отрасли российской антропологии рассматривают эту проблему с диаметрально противоположных позиций: антропология инвалидности — с отчетливо конструктивистских, в то время как медицинская антропология — все еще как классическая этнография формальных сторон культуры.

2

Очень трудно судить, движение ли это от теории к описанию или наоборот? Скорее всего, для антропологии в целом, включая субдисциплины и отраслевые разновидности, такую общую тенденцию проследить невозможно. Есть старый анекдот, называющий якобы кардинальные различия ленинградских и московских школ (они выделяются, разумеется, с высокой долей условности в фонологии, востоковедении, археологии и пр.): представители первых — осторожные в выводах снобы, вторых — не унимающиеся безумцы-фантазеры. Возможно, стереотипное поведение петербургского ученого объясняется здесь стремлением как-то противостоять экспансии идей, потоком

направляющихся из столицы. Вот еще пример: в сравнении с современной российской этнологией археология выглядит сейчас гораздо более сдержанной по части выдвижения новых концепций и эмпирически основательной. Обычно это объясняют реакцией на недавнее печальное прошлое с его чересчур широкими стадийными (или, наоборот, миграционистскими) моделями и обобщениями. Но совсем иначе соотносятся теоретические потенции у этой же пары (суб)дисциплин в Северной Америке. Там в последние десятилетия в авангарде теоретизации социополитического развития находятся как раз археологи, у которых куда более, чем у культурных антропологов (этнологов), развязаны руки в отношении использования эволюционистского наследия. И вообще работы многих американских археологов, в том числе по Кавказу, уже давно перестали состоять из одних рисунков и перечня поднятого материала с датировками и культурной атрибуцией, а включают также солидные концептуальные выкладки с экскурсом в современное состояние теории, словом, не как у их российских коллег.

3

Отчасти я уже ответил в предыдущем пункте — наиболее перспективные теории, существенно расширяющие наши представления о социальной эволюции ранних сообществ, исходят от археологов, таких как Билл Энджелбек, Колин Грайер и Роберт Беттингер [Angelbeck, Grier 2012; Bettinger 2015]. Перечитывая их, укрепляешься в мысли, что, в отличие от классовой дифференциации — процесса, более или менее автоматически запущенного, эгалитаризм («упорядоченная анархия») должен специально устанавливаться и постоянно поддерживаться через особые практики ограничений (запреты на накопление богатств, контроль над излишками, попытки нивелировать последствия поведения, нарушающего основы этого порядка) и поэтому вряд ли является естественным состоянием, как учили эволюционисты XIX в. и классики марксизма-ленинизма. Среди других теорий локального характера, использовавшихся мною за последнее десятилетие, хочется особенно отметить концепции гибридных культур Нестора Канклини [Canclini 1995], «колониальной мимикрии» Хоми Бхабхи [Bhabha 1994] и теорию повседневности Мишеля де Серто [Де Серто 2013]. Не вдаваясь в неуместные здесь подробности, отмечу лишь, что все три указывают на способы, какими возможно примирить культуру в классическом антропологическом понимании с современными (постколониальными) политическими и экономическими дискурсами.

На другом поприще — истории антропологии, которой в последнее время я посвящаю даже больше усилий, представляются чрезвычайно плодотворными социология философии Рэндалла Коллинза [Коллинз 2002], сосредоточенная на интерактивных

ритуалах интеллектуалов (личных отношениях, переписке, спорах, конференциях и пр.); метафора ризом для описания неожиданных связей между антропологическими идеями, остающихся, как правило, за рамками историографии в силу их слабого характера [Darnell 2022: 4], как и латуровская ANT (*actor-network theory*). В сравнении с работами Стокинга они демонстрируют новый этап в развитии методологии исследований истории антропологии, помогая еще больше преодолеть спекулятивный (избирательный) характер презентистских интерпретаций без привлечения широкого контекста, которые, увы, до сих пор еще распространены. В частности, идея Б. Латура об активном участии объекта исследования наряду с самим исследователем в продуцировании нового знания (теории) убедила меня в том, что хороший историк антропологии должен одновременно быть еще и «практикующим» антропологом, специалистом в соответствующих областях этой науки.

4

Большая часть опыта пребывания в профессии для меня уже позади, и ответ на этот вопрос неизбежно поменяет тональность на мемуарную. Речь как раз о том случае, когда необходимо различать не только «внутренние», но и «внешние» факторы, о чем напоминает дорожная карта. Когда примерно сорок лет назад я приступал к полевой работе, собирая данные на диплом, а затем и на диссертацию, прогрессивное студенчество страны в пик советскому официозу, материалистическому, по крайней мере декларативно, проявляло повышенный интерес к «духовке», грезя основными текстами культуры и скрытыми в них бинарными оппозициями. Мой мудрый научный руководитель Сергей Александрович Арутюнов реагировал благосклонно, поскольку тогда семиотическая теория тех, кого потом назовут московско-тартуской школой, почти еще не добралась до Кавказа. Ей были всерьез увлечены, кажется, еще только Левон Абрамян с особым художественным видением мира и Барасби Бгажноков, павший (как в *falling in love*) жертвой тонкостей адыгского этикета. Чуть ранее, в последние школьные годы и на первых курсах университета, я поддался «скромному обаянию» дескриптивизма, не только в узко лингвистическом, но и в общеметодологическом смысле, конспектируя труды Ф. Боаса, Дж. Суантона, А.Л. Крёбера, Р. Лоуи и К. Уисслера, получаемые по MBA — с полувековым запаздыванием! Восхищение вызывало их качество. (Америка притягивала, как было почти у всех, куперовским пятикнижием и вестернами, Кавказ же представлял собой окружающую этнографическую реальность.)

Постсоветское десятилетие ознаменовали новые возможности — стажировки через Атлантику, включавшие знакомство с «Индийской Страной» (Вайн Делория) — резервациями в нескольких штатах, и Арутюнов как-то показал мое сочинение,

написанное на американском материале, но еще в духе леви-стросовских бриколажей, великому смитсоновскому антропологу Биллу Стёртеванту. Вердиктом этноисторика, естественно, на дух не переносившего архетипы и мировые древа, о чем я тогда не догадывался, было следующее — «не находит никаких подтверждений эмпирикой». Так маятник качнулся в сторону, противоположную от теории. Но в Северо-Западном университете, Эванстон, штат Иллинойс, небезызвестный социолог-мирсистемщик Георгий Дерлугьян попробовал привить вновь прибывшему земляку теории социальной эволюции. Эту же тенденцию укрепило знакомство с настоящими неозволюционистами, с кем-то шапочное, с другими теснее — из российских прежде всего с А.В. Коротаевым, но также с Робертом Карнейро и Тимоти Эрлом, книгу которого я потом переводил (см.: [Джонсон, Эрл 2017]). Однако гораздо сильнее оказался эффект от работ по истории антропологии Дж. Стокинга, в ту пору считавшихся новаторскими. Нас свел как-то его ученик по Чикагскому университету Д. Волк. Так что мои базовые теоретические пристрастия вполне «классические», если точно, то модернистские, хоть это и выглядит в русле недавних дебатов как партийная принадлежность: (нео)боасовский историзм (так сказать, с нулевой степенью теории) → семиотика → эволюция (там, где интерпретации невозможно избежать). Именно такой порядок отражает как общий хронотоп, так и то, насколько в вырисовывающемся «каркасе теорий» важное место у каждой из них.

5

Возможно, это самый провокативный из всех вопросов. Перво-наперво в голову приходит, что исчезновение «живучих» теорий должно происходить вместе с куновским «сдвигом парадигм». Как уже было сказано, концепцию культуры в антропологии Стокинг предлагал считать аналогом парадигм из естественных наук. В противовес таким самым «большим» теориям, наверное, есть и другие, появление, распространение и забывание которых подчиняется действию своеобразной научной моды. Последнее предположение заставляет вернуться к дискуссии, ставшей чуть ли не традиционной, о заимствованном характере отечественной антропологии. Интересная попытка осмысления вторичности социальных дисциплин в России принадлежала М. Соколову и К. Титаеву из Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУ). И «АФ» устроил даже более десяти лет назад обсуждение их статьи. Действительно, западной литературой одинаково навеяны и не стихающее преследование конструктивистами «этносистов» (Э. Геллнер), и постмодернистские деконструкции, и неозволюционизм, и поиски московских компаративистов по установлению дальнего языкового родства с помощью лексикостатистики М. Сводеша. Даже

марксизм, если считать советскую этнографию марксистской, является в основе западноевропейской доктриной. Разумеется, время от времени в отечественной науке появлялось и нечто автохтонное (с разной степенью научной продуктивности), например «яфетическая теория» Марра, уже упоминавшаяся семиотика Ю.М. Лотмана, Вяч.Вс. Иванова и В.Н. Топорова и теория этноса. Но даже содержание первых двух глав «Очерков теории этноса» Ю.В. Бромлея [Бромлей 1983] подозрительно аналогично перечислению всевозможных сочетаний этнических групп и границ у Фредрика Барта. П. Скальник приводит другую потрясающую параллель — южноафриканскую концепцию *ethnos*'а, но здесь как раз возможен общий российский источник — концепция этноса С.М. Широкогорова [Скальник 2006: 75–76].

Сложный процесс адаптации заимствованного, сопряженный с его отторжением, ответственен, по мнению Соколова и Титаева, за грандиозные структурные изменения внутри национального академического цеха, вплоть до образования двух разных «академических племен» — «провинциального» (по отношению к западным центрам) и «туземного» со «множеством культурных особенностей». Последнее послужило основным объектом иронии этих авторов. Будто бы и по сей день «туземная» наука активно противится «тлетворному влиянию» извне. Представлена она якобы «в основном в государственных вузах, провинциальная — в нескольких негосударственных университетах», как ЕУ [Соколов, Титаев 2013: 251–252, 269]. Хлестко, но не бла-бла-бла ли все эти метафоры? Возможно, деление на «провинциальную» и «туземную» науку хорошо ложится на ситуацию, сложившуюся в российской социологии (авторы — социологи и к «туземным» бастионам относят даже факультет социологии МГУ). Оно точно работает в истории, которая до сих пор полна предрассудков в отношении норманизма и пр. Но указанная дихотомия менее всего подходит для антропологии, по-прежнему в России очень компактной, поэтому прозрачной и просчитываемой для всякого подобного анализа. На Чукотке, наиболее удаленной от мировых столиц антропологии, мне довелось наблюдать, как информанты (соавторы, сотрудники по полю) пользуются оригинальным изданием книги Анны Керттула [Kerttula 2000] благодаря карандашному русскому подстрочнику, надписанному одной сиренинской эскимоской, свободно владеющей английским. А финно-угроведы по-прежнему обращаются к переводным публикациям этнографов и лингвистов из Венгрии, Финляндии и Эстонии. Больше всего похожа на манифест «туземной» науки серия публикаций покойного Б.Х. Бгажнокова ([Бгажноков 2000] и др.) из КБР о «гуманистической этнологии», выпущенных, что

примечательно, вначале при поддержке фонда Дж. и К. Макаруров, а затем и РФФИ. Но и он обильно ссылается на западных ученых, от Э. Фромма до П. Бурдьё, а в Нальчике выходят переводы весомого числа источников по Кавказу западноевропейских авторов. Поэтому, если следовать логике социологов из ЕУ, то даже в прирученной государственной этнографии вовсе не остается девственных уголков для «туземцев» от науки, и она вся насквозь оказывается вестернизированной, либо, учитывая ее догоняющее развитие, вся «туземная».

Но основной проблемой, на мой взгляд, является не масштаб или частотность заимствований, а нарушенная логика продуцирования научного знания, когда у распространившейся таким способом теории может полностью отсутствовать эмпирическое заземление. Более того, зачастую под нее, а не наоборот, подбираются факты, которым таким образом отводится роль не более чем иллюстраций. Такая теория не нуждается в верификации, и от нее быстро избавляются, как только пропадает конъюнктура. Нужно учитывать еще один фактор, способный породить воистину чехарду теорий, но он опять-таки приводит нас к рассуждениям о специфике российской антропологии, по крайней мере в эпоху ее формирования. Солидарен с теми, кто видит эту специфику не столько во вторичности либо особой приверженности советской этнографии к марксизму, сколько в способе организации последней. Ю.Л. Слезкин [Слезкин 2019: 72–119] обратил внимание на сущностные связи идеологии большевиков, называемой ими наукой, с чисто религиозным сектантством. Можно, однако, углубиться еще и разглядеть у них же вполне религиозное отношение к науке как таковой. Развивавшиеся в условиях идеократии общественные науки находились в СССР под назойливой цензурой, и обмены теориями и дискуссии приобретали в них скорее имитационный, фиктивный характер. В таком случае то, что в советский период мы называем этнографией, являлось, как настаивает В.А. Шнирельман [Шнирельман 2024], скорее гибридным порождением науки и идеологии. И с (псевдо)теориями такого гибрида расставались не менее свободно при малейших изменениях в политической надстройке. Такая участь постигла, например, теорию военной демократии 1920–1930-х, ранние схемы развития семьи и брака, марровское «новое учение о языке», теорию лингвистической непрерывности С.П. Толстова и Д.В. Бубриха и пр.

Отдаю себе отчет, что близкие в чем-то ситуации возникают время от времени и в истории западной антропологии. Тот же Слезкин как-то в устной беседе делился откровениями, что его коллеги по Беркли, всецело погруженные в культурную критику, совсем уже перестали появляться в поле, независимо от того,

«полилокально» (Дж. Маркус) ли оно устроено или нет. Постепенно почему-то восторжествовал стандарт научного письма, в котором все оказалось перевернуто с ног на голову: статью теперь принято начинать с демонстрации приверженности теории, лучше новейшей и набирающей популярность, и лишь потом переходить к изложению фактической стороны. Такой порядок больше напоминает обязательный зачин из цитат классиков марксизма, как было почти во всякой советской публикации, чем то, что выходило из-под пера отцов-основателей антропологии. Но если неукоснительное следование советской схоластике длилось десятилетия, то в наши дни подобные теории актуальны краткосрочно, а уже на следующем витке моды их заменяют другие и т.д. и т.п. Мой собственный ученик, получивший *tenure* в одном из британских вузов, жаловался, что столь поверхностному отношению к методологическому выбору непросто противостоять, потому что оно вшито в общую систему меритократии: рейтинги университетских департаментов, навязываемые сверху чиновниками от науки, например пресловутый REF (Research Excellence Framework), чутки к тому, какие именно теории вы используете. Но я с удовольствием признаю, что принципы отношения к эмпирике как к лаборатории, в которой и должна появляться теория, пока еще живы. В начале 2000-х гг. у меня проходила стажировку докторант из Великобритании, учившаяся в том числе у Мэри Дуглас. Я наблюдал, как будущий профессиональный антрополог приехала с одним теоретическим багажом, но затем радикально от него отказалась, защитившись уже по новой теме, более приличествующей, по ее мнению, всему, что узнала в поле.

Библиография

- Бгажников Б.Х. Основания гуманистической этнологии // Этнографическое обозрение. 2000. № 6. С. 15–29.
- Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М.: Наука, 1983. 412 с.
- де Серто М. Изобретение повседневности. 1. Искусство делать. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2013. 328 с.
- Джонсон А., Эрл Т. Эволюция человеческих обществ: от добывающей общины к аграрному государству. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2017. 347 с.
- Коллинз Р. Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002. 1281 с.
- Скальник П. Советская «теория» этноса и ее южноафриканская параллель // Этнографическое обозрение. 2006. № 3. С. 72–85.
- Слезкин Ю.Л. Дом правительства: сага о русской революции. М.: АСТ; Corpus, 2019. 976 с.
- Соколов М., Титаев К. Провинциальная и туземная наука // Антропологический форум. 2013. № 19. С. 239–274.

- Шнирельман В.А. В погоне за предками: этногенез и политика. М.; СПб.: Нестор-История, 2024. 624 с.
- Angelbeck B., Grier C. Anarchism and the Archaeology of Anarchic Societies: Resistance to Centralization in the Coast Salish Region of the Pacific Northwest Coast // *Current Anthropology*. 2012. Vol. 53. No. 5. P. 547–587.
- Bettinger R.L. *Orderly Anarchy: Sociopolitical Evolution in Aboriginal California*. Berkeley, CA: University of California Press, 2015. 312 p.
- Bhabha H. *The Location of Culture*. London; New York: Routledge, 1994. 440 p.
- Canclini N.G. *Hybrid Cultures: Strategies for Entering and Leaving Modernity*. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1995. 328 p.
- Darnell R. A Critical Paradigm for the Histories of Anthropology. The Generalization of Transportable Knowledge // *Bérose — Encyclopédie internationale des histoires de l'anthropologie*. Paris: S.n. 2022. <<https://www.berose.fr/article2718.html?lang=fr>>.
- Kerttula A. *Antler on the Sea: The Yupik and Chukchi of the Russian Far East*. Ithaca, NY; London: Cornell University Press, 2000. 180 p.
- Stocking G. Franz Boas and the Culture Concept in Historical Perspective // *American Anthropologist*. 1966. Vol. 68. No. 4. P. 867–882.

ЕКАТЕРИНА МЕЛЬНИКОВА

О теоретических айсбергах, грехе вторичности и борьбе за концептуальные патенты

У меня на домашнем компьютере есть файл под названием «Литература_Свод». Когда-то давно, когда еще не было Zotero, я завела его для того, чтобы раскладывать историографию по полочкам. По мере изменения моих интересов или интересов моих студентов я создавала там отдельные тематические блоки и заносила важные работы, по возможности сопровождая комментариями. Некоторые блоки со временем дробились на более мелкие, некоторые объединялись и переозначивались. Но наряду с такими темами, как «Номенклатура и бюрократия» или «Гулаг и репрессии», в этом документе почти сразу появился блок «Базовые работы». Я не очень задумывалась о его названии. Оно и сейчас для меня не очень важно, но я до сих пор помещаю туда метадисциплинарные понятия и подходы, которые преодолели, как мне кажется, границы отдельных наук и обращены к интерпретации реаль-

**Екатерина Александровна
Мельникова**

Европейский университет
в Санкт-Петербурге,
Санкт-Петербург, Россия
melek@eu.spb.ru

ности независимо от того, на каком дисциплинарном языке описывается эта реальность. В этом блоке есть много хорошо известных и уже ставших банальными концепций: общность и общество Фердинанда Тенниса, культурная индустрия Теодора Адорно и Макса Хохмайера, текучая современность Зигмунта Баумана, homo sacer Джорджа Агамбена, моральная экономика Эдварда Томпсона, нервная система Майкла Тауссига, эмоциональный труд Арли Хохшильд, общество спектакля Ги Дебора и общество риска Ульриха Бека и т.д. и т.п. Все эти концепции я и считаю теми теориями, которые определяют мой взгляд на разные элементы окружающего мира и поиск путей для ответов на частные вопросы, с которыми я сталкиваюсь в работе и в жизни.

У этого интеллектуального корпуса и моего способа обращения с ним есть несколько особенностей. Одна из них заключается в том, что дисциплинарная идентичность и аффилиация авторов практически не имеют для меня значения, и, кажется, не для меня одной. Конечно, если я включаю ту или иную теорию в свою лекцию, я рассказываю о ее авторе. Но скорее для того чтобы позиционировать исследователя и его научную оптику в историческом, политическом, социальном контексте, а не для того чтобы объяснить его или ее подход дисциплинарными традициями и опытом. Как правило, и сама дисциплинарная идентификация дается в таких случаях с трудом. И если, например, Клиффорда Гирца и Джеймса Клиффорда довольно легко пришить ярлыком «антрополог», то уже с Пьером Бурдьё этот прием работает плохо. А как классифицировать Агамбена или Арендт? Можно, правда, всех называть философами, но такая категоризация мало что проясняет в самой научной философии авторов.

Или вот, например, Ричард Сеннет. Человек, написавший, как и большинство авторов из моего списка, десятки работ, выпускавший иногда по несколько книг в год, обращавшийся и к модерности, и к мастерству, и к городу, и к социальной истории публичной сферы — кто он? Его называют урбанистом, социологом города, социологом культуры. Но на странице издательства «Новое литературное обозрение», сопровождающей перевод его книги «Умо-зрение» [Сеннет 2024], он назван «американским историком и социологом». Не слишком любимый профессионалами, Сеннет неоднократно подвергался критике за излишнюю поверхностность, невнимательность к деталям и, главное, как кажется, за то, что всегда пытался построить теорию всего. Таких теоретиков еще принято называть влиятельными интеллектуалами и мыслителями. В этом интеллектуальном мессианстве заключается вторая особенность моего списка теорий и теоретиков.

Большие концепции, которые предлагались различными интеллектуалами, хотя и не всегда опирались на такие масштабные исследовательские ландшафты, как у Сеннета, в своих заключениях, как правило, стремились именно к этому — созданию теории всего, обнаружению какой-то универсальной, базовой структуры, принципа, механизма, позволяющего понять большие процессы, объяснить глобальные социальные противоречия и проблемы, будь то насилие, революции, нищета, несправедливость, неравноправие или наоборот, счастье, благополучие, способностью к коллективному действию. Такая пронизывающая концептуальная универсальность хорошо видна по тем эффектам, к которым приводила рецепция теоретического наследия авторов, признанных публичными мыслителями и собственно теоретиками. Самый очевидный пример — это «эффект Фуко», заметный абсолютно во всех областях социального знания, включая историю, социологию, антропологию и отдельные направления каждой из этих наук. Маршалл Салинс назвал последствия этого эффекта пауэризмом (*powerism*) [Sahlins 1999: 406], стремлением отыскать и деконструировать отношения власти во всех сферах общественной жизни и, главное, объяснить этими отношениями все существующие социальные комбинации и процессы.

Может быть, с меньшими последствиями, но и другие теории приводили к аналогичным эффектам. «Банальность зла» Ханны Арендт стала метапонятием. «Пространство опыта» и «горизонт ожиданий» Рихарда Козеллека используются в огромном количестве работ, если не в качестве объяснительных моделей, то как инструменты для анализа темпоральных изменений в обществе. То, что Арендт — философ, а Козеллек — профессиональный историк, неважно, потому что и зло, и время — это понятия, к которым обращаются все социальные и гуманитарные науки. Они размечают общий социальный и исторический ландшафт в масштабе *longue durée* (вот, кстати, еще одна мета-концепция), как бы создавая сценографию для очень разных спектаклей, разыгрываемых в разных жанрах для разных аудиторий и разными актерами.

Такое универсалистское мессианство имеет несколько последствий. Одно из них хорошо подмечено Роджерсом Брубейкером и Фредериком Купером. Они рассматривали концепции идентичности, но несложно уловить те же тенденции и в отношении других метапонятий и подходов. Брубейкер и Купер выделяют «сильные», или «жесткие», и «слабые», или «мягкие», концепции. В первом случае понятие используется для определения явления, обладающего какими-то конкретными и относительно стабильными свойствами. Естественно, что такие концепции легко подвергаются критике, потому что все течет, все изменя-

ется и потому что все очень сложно, и именно поиском сложностей, а не простоты были заняты социальные исследователи последние несколько десятилетий. Во втором случае ситуация обратная. Понятие используется лишь намеком, со множеством оговорок, касающихся как раз динамичности, подвижности, нестабильности, размытости и т.д. и т.п., но в результате полностью теряет свое инструментальное значение, становясь «болванкой и пустым жестом» [Брубейкер, Купер 2002: 80]. Обсуждая концепцию модерности (еще один камень преткновения для социальных наук рубежа XX–XXI вв.), Марк Стейнберг называет такую склонность работы с теоретическим инструментарием «постструктуралистским соблазном»: «На защитах докторских диссертаций в последнее время часто можно услышать, что молодые ученые заявляют сложность, множественность и амбивалентность одной из главных своих находок или даже основным аргументом. Это становится нормативной предпосылкой нашего изучения истории» [Стейнберг 2016]. Сам Стейнберг пытается сопротивляться этому соблазну, напоминая своим аспирантам о том, что «сложность сама по себе еще не аргумент» [Стейнберг 2016]. И все-таки работать, не игнорируя «сложность, множественность и амбивалентность», но и не попадая в ловушку жестких и потому уязвимых концепций, крайне сложно.

В результате сильные концепции и понятия отправляются в плавание по безбрежным просторам социальных наук, но служат в основном маяками, а не пристанями. Лишь освещая какой-то кусочек социальной реальности и намечая путь для дальнейшего плавания, они редко становятся теми гаванями, где исследователи бросают якорь надолго. Хотя за каждым из понятий, рассыпанных в кавычках по этому тексту, скрываются огромные айсберги теоретических рассуждений и сложных концепций, в историографии мы имеем дело почти исключительно с черными ящиками ярких и запоминающихся метафор, идиом или неологизмов.

Конечно, бывают исключения. Например, Борис Гладарев построил большое исследование, опираясь полностью на теорию общих мест Лорана Тевено, разобрав ее в деталях и приложив к анализу позднесоветских градозащитных движений [Гладарев 2011]. Анастасия Карасева использовала концепцию нервной системы Майкла Тауссига в интерпретации Константины-Нади Сереметакис для анализа масштабной коммунальной аварии в Магаданской области [Карасева 2018]. Но все-таки подобные формы работы с сильными теориями редкость. Гораздо чаще они удостаиваются проходных ссылок в историографическом обзоре или упоминаются в качестве удобных метафор (как тот же «горизонт ожиданий» Герхарда Козеллека или «голая жизнь»

Джорджа Агамбена, «разрастание руин» Германа Люббе или “dividuals” Мэрилин Стратерн).

Более того, приложение одной конкретной теории к собственному материалу создает дополнительные проблемы для автора, который рискует быть обвиненным в главном грехе современного интеллектуала, а именно грехе вторичности. Когда-то вполне банальный аргумент в обсуждениях различных исследований, сегодня грех вторичности стал дамочным мечом, нависающим над головой социального критика, а вопрос о том, как не впасть в этот грех, — ключевой проблемой научной прагматики. Сама эта трансформация, связанная с тем, что грех вторичности перешел в разряд смертных, отражает, как мне кажется, более общие тенденции в организации и целеполагании современной академической дискуссии, на которой я и хочу остановиться дальше.

Когда-то давно целью науки было производство знания, которое определялось в позитивистских, но потому вполне романтических оттенках, привлекавших немало пытливых искателей истины. И хотя сами позитивистские основы историографии изрядно пошатнулись уже во времена Куна и Флека, не говоря про влияние Латура, Каллона и Ло, все-таки сам стиль научной работы оставался диалогическим. Пусть идеал накопительного знания уже давно казался утопией, академическая публикация все же считалась не монологом, а репликой в диалоге, что предполагало ориентацию на поиск общего языка. Такая ориентация отражалась, во-первых, на авторском стиле письма, которое должно было быть доступным пониманию читателей (пусть даже и только коллег), или по крайней мере задумывалось как таковое, и максимально уточняющим, делающим возможным продолжение разговора без утраты и размывания задуманного содержания. Во-вторых, диалогичность отражалась на том, как читались тексты коллег, которые служили толчком для дальнейшего рассуждения, уточнения или оспаривания. Конечно, далеко не всегда было именно так, далеко не всем удавалось справиться с этой диалогической задачей, и даже далеко не все определяли свою задачу подобным образом. Но все-таки нормативность подобной диалогичности звучала — на лекциях и в кулуарах, в беседах между научными руководителями и их студентами, в рецензиях на статьи и книги. Поддержание пусть даже истончившейся нити диалога как будто и составляло суть академической работы.

За последние пару десятилетий ситуация кардинально поменялась. Ужесточившаяся конкурентная среда академического рынка труда, усталость от «черных ящиков» больших теорий и признание краха кумулятивной утопии научного знания — все

это, кажется, спровоцировало изменения в стиле научных публикаций. Вместо поиска наиболее адекватной своим материалам теории или концепции, оптики и подхода нормативными стали производство собственных форм концептуализации и политика продвижения новоизобретенных аналитических конструкций и терминов.

К числу хорошо известных дискуссий «старого типа» относятся, например, долгие дебаты о понятиях «модерность», «субъектность» или «память», в которых в разные годы принимали участие представители самых разных дисциплин, приводившие множество интерпретаций, аргументов и подходов, уточняющих, развивающих или оспаривающих и опровергающих эти концепции. Споры нередко принимали крайне жесткие формы, отражая или даже создавая границы исследовательских школ и направлений.

Дискуссии «нового типа» разворачиваются принципиально иначе. Это уже не разговор за круглым столом, рискующий перерасти в настоящую драку, и не хоровое пение на множество голосов, а выступление на конференции в стиле TED или концерт солистов, исполняющих собственные вокальные номера. Это серии монологов, ориентированных на изобретение и переизобретение аналитического инструментария и языка, переборку историографического канона и всей системы координат для разметки исследовательского поля. В качестве примеров приведу книги “The Make-Believe Space: Affective Geography in a Post-War Polity” Яэль Наваро-Яшин [Navaro-Yashin 2012] и «Past discontinuous: фрагменты реставрации» Ирины Сандомирской [2022]. Обе работы монографические и ориентированы на создание полноценных авторских концепций: “make-believe space” в первом случае и «патримоуниума» — во втором. Обе обращены к темам, далеко не новым в современной историографии, и в то же время к большим вопросам — в одном случае к проблеме памяти, миграций, аффекта и принадлежности к месту; в другом — наследия как политически и культурно нагруженной категории. Несмотря на то что оба автора не обходят вниманием существующие историографии, созданные ими концепции полностью пересобраны и представляют собой герметичные авторские теории, которые с трудом могут рассматриваться как реплики в каком-то уже идущем диалоге.

Лидерами индустрии авторских теоретических миров стали маститые исследователи рубежа XX–XXI вв., снискавшие славу благодаря экспериментам с языком, оптикой и теоретическим инструментарием, такие как Тим Ингольд, Мэрилин Стратерн или Дэвид Гребер, получившие патенты на множество самых разнообразных концептуальных изобретений. И кажется,

именно их успехом вдохновляются тысячи других авторов, ориентирующихся не столько на то, чтобы поддерживать диалог, сколько на утверждение и продвижение собственных концепций. На смену зонтичным метапонятиям пришло множество авторских терминов: “infra-empires”, “infra-imagineries”, “infrasubjectivities”, “social-natural arrangement”, “borderscape” и «соластальгия», «стихийный материализм», «аффективный менеджмент истории», “haunting”, «коннективные логики совместного действия», «гибридная телесность» и “urbanity”, «критическая эмпатия», “future literacy” и т.д. Число таких новоизобретенных конструкций не поддается учету, потому что каждая статья, уж не говоря о монографиях, вводит новое понятие и новую концепцию. Как выразилась моя коллега, которую я попросила поделиться новыми понятиями, изобретенными в последнее десятилетие: «Ой, сейчас ведь каждый автор хочет что-то изобрести».

Некоторая, хотя и крошечная часть новых изобретений попала на страницы словаря критических концептов творческих гуманитарных наук, вышедшего под редакцией профессоров Утрехтского университета Ирис ван дер Туин и Нанны Верхофф [van der Tuin, Verhoeff 2022], которые изобрели и само понятие «творческих гуманитарных наук» (*creative humanities*), институализировав его в форме академии (*the Creative Humanities Academy*). Манифестируя эту новую область, они помещают ее на пересечении критических и творческих практик, рассматривая в качестве генеративной методологии, как нельзя лучше отражающей современный момент:

Эти генеративные практики являются экспериментальными и удобными для производства знаний в условиях неопределенности, множественности и трения. Размышляя с концепциями, через концепции и за их пределами, творческие гуманитарные проекты творчески подходят к разработке и развитию своих собственных методов и подходов, поскольку они стремятся ориентироваться и исследовать продуктивные связи и взаимные отношения между творческими практиками, с которыми они взаимодействуют, и разрабатывать концептуальные аналитические подходы к тому, с чем эти практики также работают, через концепции или за их пределами [van der Tuin, Verhoeff 2022: 2].

Этот перевод я сделала с помощью инструментов AI и не стала редактировать. Любая форма адаптации оригинального текста к правилам литературного русского языка неизбежно дает в этом случае сбой, потому что увязает в консервативных коннотациях русскоязычных терминов. Даже само понятие «творческие гуманитарные науки» в русском переводе отдает душком

постсоветской академии с нотками творческой индустрии в исполнении Министерства культуры РФ. Но герметичность языка обусловлена, на мой взгляд, не только трудностями перевода, но и тем фактом, что язык новых теорий сам по себе является генеративным, изобретается одновременно с новой концепцией и неотделим от нее.

Одним из источников вдохновения для ван дер Туин и Верхоэфф стал подход теоретиков генеративной философии Эрина Мэннинга и Брайана Массуми, чья цитата была вынесена в эпиграф, и я приведу ее полностью, на этот раз без перевода:

This idea of research-creation as embodying techniques of emergence takes it seriously that a creative act or design practice launches concepts in-the-making. These concepts-in-the-making are mobile at the level of techniques they continue to invent. This movement is as speculative (future-event oriented) as it is pragmatic (technique-based practice) [Manning, Massumi 2014: 89].

Этот фрагмент из книги Мэннинга и Массуми служит ярким примером одновременно и концептуализации самого генеративного подхода, и образцом текста, созданного на его основе. И хотя проект творческих гуманитарных наук погружен в первую очередь в практики со-участия исследовательских и творческих инициатив, за ним скрывается и более общий подход к производству теорий. Как пишут авторы, «создание критических концепций в творческих гуманитарных науках само по себе является теоретической практикой». Но «вопреки ретроградному движению, порожденному позитивизмом, такие концепции подвижны в другом направлении, поскольку по своей сути они экспериментальны и открывают еще неизвестные территории мысли» [van der Tuin, Verhoeff 2022: 3]. Публикуя свой словарь, Ирис ван дер Туин и Нанна Верхоэфф приглашают всех желающих присоединиться к этому движению и критически осваивать эту территорию: «увеличивать и уменьшать масштаб; соединять и расширять ее за счет других понятий, примеров и вопросов и мобилизовывать понятия в других местах и в других временах — в мышлении о будущем, в письме, делании» [van der Tuin, Verhoeff 2022: 3].

Такая теория теоретизирования отражает современную модель обращения с теориями — генеративную, порождающую, которая, по сути, является не работой с имеющимися концепциями, а творческой работой *по созданию* новых. Создание нового аналитического языка, изобретение новых понятий, пересборка концептуального аппарата и канона историографии — все это стало сегодня конвенциональным руководством к действию и вошло в научный катехизис молодого бойца на академическом фронте. Именно в этом контексте грех вторичности оказался

одним из самых страшных грехов интеллектуала, порицаемым и осуждаемым как журнальными рецензентами, так и преподавателями университетских курсов академического письма.

Нормативность такой монологической, авторской модели научной работы, как кажется, нигде не декларирована, не закреплена и не рефлексруется самими исследователями. Она как будто остается негласным правилом и установкой, считываемыми из рекомендаций коллег, обсуждений на семинарах, кулуарных разговоров и собственно практики издательств. Я сама несколько раз сталкивалась с рекомендацией редакторов предложить собственную авторскую концепцию и новый термин для характеристики своих материалов. Фраза *I introduce a new term* в различных вариантах стала почти обязательной в аннотациях публикаций.

В начале декабря 2024 г. на площадке журнала “Laboratorium” состоялся семинар, посвященный использованию теорий в научных публикациях, на котором Алексей Голубев декларировал как раз такой творческий подход к теоретизированию, емко обозначенный формулой «выкручивать теорию из своего материала»¹. В качестве иллюстрации к своему докладу Голубев использовал сюжет мультфильма «Трое из Простоквашино», в котором Дядя Федор с помощью кирки и лопаты добывает клад. Развивая метафору научного знания как ценности, которую мы все надеемся получить в результате своей работы, Голубев приходит к выводу, что теория — это не кирка и не лопата, с помощью которых мы добываем искомую ценность, а «обменный курс», позволяющий приобрести на добытые средства желаемую корову. Важная метафора рынка, на котором котируются производимые нами продукты знания, возвращает нас от вопроса о моделях теоретизирования к моделям организации самой академии. В своем выступлении Голубев объясняет необходимость авторской теоретической работы риском в противном случае превратиться в кирку в руках более умелого мастера, который, воспользовавшись добытым другим исследователем материалом, сможет извлечь из него дивиденды и приобрести ту самую корову, которая не достанется безыскусному копателю. Спорить с таким обоснованием трудно. Но, как мне кажется, проблема индустрии теоретических патентов не исчерпывается издержками академического экстрактивизма.

Котировки научного авторитета уже давно зависят от узнаваемости и научного следа, который иногда измеряется рейтингами цитирования, иногда объемом рецензий признанных коллег

¹ Я благодарю организаторов семинара за любезно предоставленную запись доклада и обсуждения.

или даже объемом критики и скандалов (впрочем, сегодня это не менее рискованный путь, чем бесхитростное кладоискательство). Но во всех этих системах оценивания главным способом завоевать себе место на академическом Олимпе и выбраться из плотной толщи никому неизвестных авторов служит производство такого термина, концепции или понятия, которое вызовет резонанс и сможет превратиться в разменную монету для других авторов. Парадоксальным образом когда-то болезненная проблема больших теорий, съезжившихся до размера ярких метафор, конвертировалась сегодня в прагматичную цель создания этих метафор, изобретаемых с таким расчетом, чтобы цеплять аудиторию и быть подхваченными другими исследователями, закрепившись в научном арсенале как можно большего числа коллег.

Я далека от мысли, что процесс творческого подхода к теориям и теоретизированию, возгонка собственного теоретического «Я» перед лицом своего исследовательского материала неизбежно ведут к негативным последствиям для научной дискуссии. Наоборот, именно эксперименты с аналитическим языком, оспаривающие, опровергающие или переворачивающие логику классических подходов, были очень полезны в развитии знаний о мире. Как и множество конкретных терминов, предложенных для его описания.

Но и негативные последствия тоже нельзя сбросить со счетов. Нормативность производства новых концепций наряду с чудовищным давлением академического рынка труда и все возрастающими ставками в научной конкуренции приводят к тому, что за многими метафорами, предлагаемыми теперь уже почти в каждой статье, не стоят ни проработанные теории, ни продуманные концепции. Они уже не являются верхушками айсбергов, а напоминают скорее бесконечный поток льдин в половодье, которые в конце концов растают без следа или в лучшем случае доберутся до открытого моря и потеряются там навеки.

Впрочем, концепции, разработанные на монографическом уровне, зачастую оказываются герметичными авторскими мирами, сотканными из тонких нитей субъективно увиденных связей и скорее намекающими на конкретные понятия, чем определяющими их. Литературный талант в этом случае оказывается более прибыльным ресурсом, чем языковая компетенция, необходимая для работы с конкретными материалами, или собственно экспертиза в той или иной области знания. Новые теории создаются как стихи. Их главная задача — вдохновлять читателей на поэтическое творчество, а не пытаться понять и описать этот мир.

Новые концепции, с которыми я сталкиваюсь, читая современную историографию, уже не попадают в мой список «базовых работ» и требуют создания какого-то совсем другого списка, для которого я пока не придумала названия. И все-таки, когда я писала эту реплику, я тоже постаралась изобрести несколько ярких метафор в надежде на то, что и они кому-нибудь придутся по вкусу.

Библиография

- Брубейкер Р., Купер Ф. За пределами «идентичности» // *Ab Imperio*. 2002. № 3. С. 61–115.
- Гладарев Б. Историко-культурное наследие Петербурга: рождение общест-венности из духа города // Харходрин О. (науч. ред.). От обще-ственного к публичному. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2011. С. 71–304.
- Карасева А. Разомкнутая модерность: коммунальная авария в сенсорном ландшафте северного поселка городского типа // *Антропологиче-ский форум*. 2018. № 38. С. 122–146.
doi: 10.31250/1815-8870-2018-14-38-122-146.
- Сандомирская И. *Past discontinuous: фрагменты реставрации*. М.: НЛО, 2022. 520 с.
- Сеннет Р. *Умо-зрение: устройство и социальная жизнь городов*. М.: НЛО, 2024. 328 с.
- Стейнберг М. О понятии модерности (пер. с англ. Татьяны Пирусской) // Новое литературное обозрение. 2016. № 140. <https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/140_nlo_4_2016/article/12050>.
- Manning E., Massumi B. *Thought in the Act: Passages in the Ecology of Ex-perience*. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 2014. 224 p.
- Navaro-Yashin Y. *The Make-Believe Space: Affective Geography in a Postwar Polity*. Durham, NC: Duke University Press, 2012. 296 p.
doi: 10.1215/9780822395133.
- Sahlins M. Two or Three Things that I Know about Culture // *The Journal of the Royal Anthropological Institute*. 1999. Vol. 5. No. 3. P. 399–421.
- van der Tuin I., Verhoeff N. *Critical Concepts for the Creative Humanities*. Lanham: Rowman & Littlefield, 2022. 256 p.

ФИЛИПП ПЕСТЕЙ

Взгляд на силовое поле¹: французская антропология и ее тенденции

Если принять точку зрения Томаса Куна о том, что нормальная наука в каждый конкретный момент своей истории признает господство одной парадигмы [Kuhn 2008], то этой схеме / сценарию соответствуют только точные и экспериментальные науки. *Науки* гуманитарные и общественные, либо не имеющие доминирующей парадигмы (ситуация постоянной аномии), либо имеющие их слишком много (ситуация полиномии), побуждают нас считать, что они не заслуживают определения «науки». Для одних (Клод Леви-Строс) это преднауки, для других (Ален Тестар) — почти науки. Можно было бы возразить, что это не так важно, поскольку экспериментальные и объяснительные науки имеют неодинаковые эпистемические основания. Во Франции труды Пассерона задали тон для различения фундаментальных основ научных дисциплин: гуманитарные и общественные науки отвечают типу научности, свойственному для эмпирических объяснительных наук, поскольку базируются на сложности исторического (событийного) мира или на нередуцируемости человеческого разума (представлений) [Passeron 1991]. Эта дуалистическая конструкция (культурные факты / биологические и психологические факты) долго организовывала границу между дисциплинами во Франции. Добавим к этому важность *национальных традиций*, зачастую берущих начало в определенных философских течениях и порождающих трудно сопоставимые или, как говорят, несоизмеримые антропологии [Corans, Adell 2019: 56–57].

Филипп Пестей

Университет Западной Бретани,
Брест, Франция
philippe.pesteil@univ-brest.fr

Чтобы понять и оценить современное состояние французской антропологии, на мой

¹ *Силовое поле* понимается здесь в физическом смысле как зона, где происходит воздействие на тело, формирующее или деформирующее его, и одновременно в смысле, принятом в научно-фантастической литературе: как орудие пассивной защиты, предназначенное для отражения атак.

взгляд, по-прежнему необходимы и оптимально отвечают этой задаче несколько работ, например «Французские антропологии в перспективе» Жана-Люка Жамара [Jamard 1993], излагающего с редкой эрудицией (и юмором) историю, проблемы и современные дебаты, которые разворачиваются во французском контексте. В своем небольшом очерке я предлагаю вернуться к нескольким магистральным тенденциям, соотношению сил и перегибам, выявленным в лоне *гексагональной*¹ антропологии. Затем остановимся на вкладе так называемого *когнитивистского* течения и его трудной приживаемости на французской почве. Наконец, в более личном регистре, затрону собственные выборы и некоторые исследовательские пути, которыми следую в последние годы. Применительно к предложенному редколлегией перечню сюжетов эта панорама отвечает в основном на вопросы 2 и 4 и отчасти на вопрос 1.

1. Современное состояние французской антропологии и различные влияния

На смену доминировавшим вплоть до 1980-х гг. парадигмам (марксизму и структурализму) пришли раздробленность и разрастание. Потеря единства, можно сказать, компенсировалась приобретениями в расширении тематики и подходов, а также изменившимся взглядом на саму дисциплину и ее задачи. В действительности разоблачение интеллектуального конформизма (внутренне присущего самому понятию парадигмы) уступило место более тонкой и диффузной форме власти. Какие магистральные тенденции можно выявить в последовавшем приращении антропологического знания?

Влияние Мишеля Фуко не ограничилось рамками философии или социологии. Капиллярный, или волновой, эффект распространил и на антропологию рассеянную власть того, кто восставал против любых форм социального контроля и благодаря этому приобрел статус поистине неуязвимого [Gauchet 2009]. «Процесс субъективизации», переоценка «сингулярности» породили в антропологии течение, в котором мы особенно выделим бурное развитие гендерных и постколониальных исследований. Пройдя свой путь в США (*French Theory*), обогащенное такими авторами, как Деррида, Лиотар, Делез и другие адепты постмодернизма, это влияние вернулось во Францию, где вскормилло направление мысли, которое назвали *деконструктивизмом*. Эта тенденция проявилась в яростной критике так называемых классических авторов и их *modus operandi* в процессе исследований, более или менее успешно скрывающего их

¹ Гексагон — иносказательное название Франции, отсылающее к форме ее границ. (Прим. пер.)

de facto доминирующую позицию в отношении подчиненных культур. Албан Бенса, Жан Базен и многие другие в своих работах отслеживали малейшие проявления колониальной позиции и выдвигали концепты и направления исследований, ставшие ныне классическими для нашей дисциплины, такие как отрицание равенства во времени, реальности, истории, актора, изобретение *этнии*¹ и т.п.

Это полезное *aggiornamento*² произвело обильную критическую литературу, но доведение его до логического предела могло подтолкнуть скорее к отказу от безусловно колониальной дисциплины, чем к продолжению поиска знания, чьи претензии на целостность были поколеблены культурным релятивизмом.

Такой контекст не мог породить какую-либо парадигму или хотя бы исследовательскую программу в понимании Лакатоса [Lakatos 1994]. Не говорил ли сам Фуко: «Но идея программы и предложений опасна. Как только появляется какая-то программа, она становится законом, она запрещает изобретать <...> Программа должна быть пустой» [Foucault 1981: 39].

В связи с этой тенденцией, но не вытекая из нее напрямую и не сливаясь с ней, начали развиваться, с подачи американских авторов, текстуалистские и контекстуалистские подходы [Clifford 1996]. Обращенные к технике письма, ведущие к оспариванию возможности существования фактов как таковых, они вслед за Гирцем придерживаются интерпретативного, герменевтического подхода, скорее семантического, чем номотетического. Кульминацией этого направления стал успех работ Бруно Латура, утверждающего, что факты сконструированы³, и предложившего проект симметричной антропологии, основанной на акторно-сетевой теории, включающей человеческое и нечеловеческое⁴.

¹ Французский термин *ethnie* не равнозначен русскому «этносу», последний во франкоязычных текстах передается калькой *etnos*. (Прим. пер.)

² Обновление (ит.). (Прим. пер.)

³ На французском игра слов: *les faits sont faits*. (Прим. пер.) В противоположность утверждению Марка Твена *facts are stubborn things* («факты — вещь упрямая»). Исходное намерение *смягчить твердые науки* (последний термин употребляется во французском языке для обозначения точных и естественных наук, в отличие от общественных и гуманитарных. — Прим. пер.), изучая в лабораториях, как в реальности делается наука, привело в результате принятия во внимание таких факторов, как ставки в игре, финансирование, известность исследователей и т.п., к представлению о науке как о системе верований и культурных практик [Latour, Woolgar 2006]. Спрашивается, как с такими *традициями* и знаниями Гершель умудрился открыть Уран.

⁴ Иконоборчество этого ученого достигло наивысшей точки с утверждением, будто бы считать причиной смерти фараона Рамзеса II туберкулез — это анахронизм: «До Коха бацилла не существовала в реальности. До Пастера пиво еще не ферментировалось благодаря *Saccharomyces cerevisiae*. <...> Утверждать без лишних слов, что фараон умер от туберкулеза, открытого в 1882 г., означает совершать смертный грех историка — грех анахронизма» [Latour 2006: 51–53].

Сущность этих течений можно сформулировать так: «Реальность не существует вне наших представлений о ней» [Darmangeat 2022]. Точки зрения по поводу точек зрения, представления о представлениях [Holbraad 2020: 270], гибридные *третьи места* множатся теперь в новых конструкциях объекта исследования.

Для части французских антропологов, оказавшихся перед лицом деколонизованного поля, которое не могло больше именоваться *экзотическим*, выход состоял в возвращении домой в рамках направления, получившего название «антропология близкого». Это явление породило интенсивные дискуссии относительно легитимности возвращения на почву, уже давно возделываемую фольклористами [l'Homme 1986]. Но шла ли речь о том же подходе и о том же объекте? В Италии, молодом национальном государстве (1861) с колониальным опытом, не сопоставимым с его трансальпийским соседом или с Великобританией¹, термин *folklorico* не содержал пейоративных коннотаций. Развивая в большинстве своем антропологию *intra muros*, итальянские исследователи выработали оригинальную дисциплину на глубоко укорененном в философии теоретическом фундаменте (гегелевский идеализм, марксизм, Вико, Кроче...) и подверженную влиянию истории религий. Она позволила говорить о *созвездии антропологии* и о дисциплине рассеянной, обогащенной вкладом других наук и местного гражданского общества [Clemente 1989]. Вокруг знаковых фигур Эрнесто де Мартино, Витторио Лантернари и Альберто Чирезе (упомяну только их) итальянская антропология с ее тематическим направлением смогла сочетать скрупулезную этнографию с амбициозной теоретической глобализацией. Хорошим примером такого сочетания может служить статья Чирезе о понятии ограниченного блага, заимствованном у Дж. Фостера [Cirese 1995].

Если сосредоточиться на недавних теоретических построениях, три имени кажутся мне достойными особого упоминания. Последние 20 лет, безусловно, отмечены трудами и идеями Филиппа Дескола, несмотря на то что его онтологии [Descola 2005] отводят почетное место культурному релятивизму, уравнивая все точки зрения и, следовательно, все конструкции реальности, в том числе научные². Назову также Алена Тестара, труды которого продолжают появляться в печати уже после его смерти,

¹ Эфемерная Итальянская империя не стала местом для масштабных антропологических исследований, в отличие от Французской. Сохранность ярко выраженных локальных партикуляризов, культурное и языковое многообразие предопределили развитие *домашней* антропологии (*demologia* или *demo-etno-anthropologia*). Проблема Меццоджорно и взаимоотношений Севера и Юга страны давали пищу для научных дискуссий, не препятствуя интересу к внешней проблематике.

² Отсылаю читателя к захватывающей дискуссии по этому поводу между Ф. Дескола и Ж.-П. Дигаром: [Descola 2006: 413–435].

подтверждая масштаб личности этого антрополога, не получившего при жизни должного признания [Testart 2021]. Его попытка создать обобщающую науку об обществах, выявляя систематику фундаментальных социальных отношений на основе форм зависимости (не исключая сравнительные и исторические методы), подвела исследователя к формулированию социологических законов¹. Наконец, вспомню Мориса Годелье и его приверженность к сближению исторического марксизма и когнитивного натурализма за счет особого внимания к сферам экономики и политики². Остановимся подробнее на когнитивизме и рассмотрим, как обстоит с ним дело во Франции.

2. *Cui bono?*

Когнитивная антропология и подходы, принимающие во внимание когнитивные науки, были встречены во Франции, мягко говоря, без особого энтузиазма. Воспринятый как возврат к *темному* прошлому дисциплины, как попытка пересмотра установившегося (казалось, общепринятого) разделения труда в науке, появившийся когнитивизм приравнивался многими исследователями к натурализму. В сжатом виде эти опасения сформулировала Флоранс Вебер:

[К]огнитивная антропология заново поднимает вопрос о связи между человеком психологическим и человеком социальным в непростом диалоге когнитивных наук, более близких к биомедицинским, с лингвистикой и социальной антропологией. В некотором смысле она воспроизводит первоначальную сцену антропологии (эпохи до социальной антропологии) со всеми ее рисками и опасностями. Может ли антропология пересмотреть разделение на биологию и палеонтологию человека, с одной стороны, социологию и лингвистику — с другой? Нет ли тут большого риска впасть в заблуждение, подобно Алексису Каррелю, труд которого «Человек, этот незнакомец» следовало бы перечесать? Можем ли мы вместе с биологами рассматривать человека как вид в его тотальности, не отказавшись от отдельного, но в равной мере легитимного (после преодоления заблуждений этничности) анализа культурного многообразия? [Weber 2015: 304].

Можно было бы возразить, что когнитивный подход — это *хороший риск* (поскольку, очевидно, риск здесь есть, как есть и заблуждения), перефразируя Сократа из Платоновского

¹ Первый закон: каждое общество создает как минимум одну форму зависимости. Второй закон: каждое общество имеет юридическое измерение в том смысле, что как минимум одно фундаментальное социальное отношение в нем регулируется законом; при этом есть также как минимум одно, которое законом не регулируется [Testart 2021: 575–576].

² См. об этом: [Berger 2019].

«Федона». Однако речь идет в данном случае не о бессмертии, но о том, чтобы избежать смерти антропологии, которая неминуемо наступила бы, последуй дисциплина опасными тропами, своевременно обозначенными по соображениям безопасности¹. Этот отказ от когнитивизма позволил обнаружить если не скрытую парадигму, то по меньшей мере направляющий конформизм и *сами собой разумеющиеся* выборы, исключающие натуралистские ориентации. Такая позиция подтверждает существование окна Овертона, в том числе для дискурса междисциплинарной открытости или просто плюралистического научного подхода.

Противники когнитивизма выдвигают множество аргументов, которые можно подразделить на две группы: те, которые выявляют в нем внутренние недостатки и неудачи, вредящие дисциплине, и те, которые критикуют его как идеологическую позицию. Мы рассмотрим лишь несколько аргументов, представительных для всей совокупности и взятых из обеих групп:

- анекдотическое использование этнографии и особым образом ориентированный отбор полевых материалов [Dupré 2002: 236], фактическое отрицание культурной сложности [Dupré 2002: 241];
- одержимость поиском таксономий, которые невозможно отыскать в поле в чистом виде, поскольку они оказываются всего лишь проекцией западных натуралистических онтологий [Lenarerts 2006];
- редукционизм, подчиняющий культуру детерминизму и исключающий учет экологических данных и общественного развития [Guille-Escuret 2014].

Идеологическая критика когнитивных наук в более воинственных кругах активистов сводится к следующему:

- стремление властвовать и агрессивность по отношению к гуманитарным наукам призваны скрыть радикальный кризис науки как таковой, вызванный бросающимся в глаза застоем перед лицом непостижимой реальности, желание подчинить себе любое научное любопытство и любую свободную мысль, установив над ними контроль государственных систем управления²;

¹ Эти соображения, по всей видимости, предопределили отказ от перевода на французский язык статьи Берлина и Кэя, считающейся важнейшим основополагающим текстом на протяжении вот уже скоро 60 лет [Berlin, Kay 1969]. Чтобы упомянуть другую парадигму, можно было бы указать на молчание, которым окружены во Франции труды Марвина Харриса, вопрос о переводе которых, похоже, тоже не стоит.

² <https://www.geo-anthropology.com/la-guerre-entre-l-humanisme-et-le-cognitivism-pour-le-controle-des-sciences-de-l-homme_a17.html>.

- современный акцент на *когнитивной предопределенности* и ее натуралистической интерпретации маскирует неолиберальный подход, который под предлогом принципиальной иррациональности человека стремится подчинить его доминирующей идеологии (технократической тирании); когнитивный подход в антропологии, по мысли этих критиков, находится в русле сциентистского, идеалистического, аисторического и определенно буржуазного дрейфа¹.

Мы далеки от того, чтобы отбросить *a priori* подобные обвинения. Несмотря на ангажированность и огульность некоторых формулировок, эти предостережения следует принять во внимание. Если антропология — это дисциплина инаковости, было бы парадоксально исключить из нее мнения наших коллег и соратников по цеху. Наиболее серьезным аргументом против включения когнитивного подхода в антропологический проект мне кажется то обстоятельство, что он обращается к эпистемам, которые не освоены антропологами. Классическому антропологу, не обладающему широким спектром научной эрудиции и энциклопедическими знаниями, вряд ли может быть доступен экспертный язык всех направлений и школ когнитивных наук, которые сами находятся в постоянном развитии и внутренних дебатах. Помимо этого дидактического, чтобы не сказать тривиального, аргумента, добавим, что дисциплина, не создавшая и не освоившая концептуальные инструменты, на которых она может строить свою исследовательскую программу и определять свои горизонты, сама ставит себя в положение малозначительной или даже второстепенной. Прекрасно осознавая наличие этих подводных камней, я обратился к когнитивной антропологии.

3. Личный выбор

Не имея большого желания видеть свое будущее в науке лишь как кризис сознания и усвоение вечного чувства вины, обрекающего меня на перечитывание старых классиков, и не будучи энтузиастом изучения антропологии сквозь призму литературных интерпретаций, я обратил свой взгляд на когнитивную антропологию.

Отвечая на неизбежный вопрос «От чьего имени ты говоришь?»², скажу, что я испытал последовательно разные влияния. Работа в поле предопределяла круг чтения, институциональная при-

¹ <<https://instituthumanismetotal.fr/affranchi/lideologie-des-biais-cognitifs-les-sciences-cognitives-au-service-de-la-tyrannie-capitaliste-333>>.

² Фр. d'où parles-tu? — букв. «откуда ты говоришь?» — вопрос, имевший широкое хождение во время студенческой революции 1968 г. и предназначавшийся для того, чтобы подвергнуть сомнению право говорящего высказывать свое мнение (в том числе по проблеме, в которой компетентен). (Прим. пер.)

надлежность и необходимость откликаться на различные запросы также наложили отпечаток на фасон моего плаща Арлекина, в котором смешались самые разные элементы, как это бывает у каждого антрополога. Вслед за неизбежными классиками пришли американские авторы и достаточно серьезное знакомство с итальянской антропологией, несправедливо малоизвестной. Долгое время я специализировался на экономической антропологии, изучая, в частности, производство продуктов питания и защиту их локальной специфики в связи с проблемой групповой идентичности [Pesteil 2019].

Самостоятельное конструирование антропологического объекта на протяжении многих лет, вместивших множество встреч и различных путешествий, содержит трудно поддающееся оценке измерение, состоящее в череде притяжений / отталкиваний, знакомых любому антропологу, что бы кто ни говорил.

Среди последних я могу различить желание восстановить связь с амбициозной антропологией, которая не ограничивается анахроничным и скрупулезным перечитыванием предыдущих антропологий. Получив образование в университете преимущественно марксистского толка, я поздно познакомился с трудами К. Леви-Строса. За рамками структурализма мне показалось особенно важным честолюбивое стремление создать материалистическую и монистическую научную дисциплину, позволяющую «реинтегрировать культуру в природу и в конечном итоге жизнь — в совокупность ее физико-химических состояний» [Levi-Strauss 1962: 824]. Сторонник ассоциации с другими дисциплинами и использования их методов, в отношении когнитивных наук К. Леви-Строс занимал промежуточную позицию между строгим натурализмом и культурным релятивизмом, отрицающим поиск универсальных закономерностей [Egré 2022: 939–944]. Такой взвешенный подход подтолкнул меня в том числе к изучению таких авторов, как Жан Петито с его морфогенезом [Petitot 2004] и программами, направленными на натурализацию феноменологии [Petitot 2002], и Люсьен Скубла с его формалистским прочтением Леви-Строса [Scubla 1998], канонической формулой мифов [Pesteil 2003] или мифо-ритуальным конструированием пространства [Scubla 2001].

Полагая, вслед за Ги-Эскюре, что осуждать когнитивизм за «социальный дарвинизм» или приравнивать его к чистой социобиологии уже недостаточно, ибо это противоречило бы принципу научной строгости [Guille-Escuret 2000: 193], я решил предпринять попытку синтеза на вполне конкретном примере отпечатков (следов). Сущность моего подхода состояла в том, чтобы тесно связать природу и культуру в их полярной крайности: приобретенную в процессе эволюции способность узна-

вать форму объектов / веру в событийное и так называемое *чудесное* происхождение углублений в камне. От формы, визуального восприятия, связи телодвижения с материей, тела с окружающей средой я перешел к связи между реальным следом, оставленным ногой или копытом, и следом воображаемых существ, отпечатавшимися на каменной поверхности (контринтуитивная операция) [Pesteil 2024].

Найдет ли своего читателя эта «бутылка в море», брошенная в бушующий океан современной антропологии, и внесет ли она свой вклад в дискуссию попыткой доказать возможную комплементарность когнитивных способностей человека и чудесных знаков народных этиологий — покажет будущее.

Заключение

В эпоху развития в числе прочего искусственного интеллекта и нанотехнологий место и будущее общественных и гуманитарных наук предстают сомнительными, если мы будем смотреть на них исключительно с точки зрения их *полезности*. Отсутствие крупных фигур и господствующей парадигмы, безусловно, работает на их ослабление, не препятствуя идеологическим влияниям и сближениям, определяющим конструирование объектов и выбор параллельных путей. Разделение на субдисциплины и расширение сфер исследования (политика, системы родства, окружающая среда...) свидетельствуют о зрелости и классической историчности дисциплины, которую невозможно контролировать. Множественность референций и программ породили плюриномативное поле, способствующее проявлению индивидуальностей, но затрудняющее кумулятивный эффект, характеризующий дисциплину. Если антропологические объекты множатся под динамическим воздействием *гибридных объектов*, то антропология как дисциплина становится все менее заметной и уже практически исчезла из медиапространства¹. Однако природа не терпит пустоты, и все чаще можно видеть рассуждающих на антропологические темы самопровозглашенных специалистов (в большинстве своем представителей вездесущих политических наук) — подтверждение того, что проблемы, которыми занимается антропология, не утратили своей актуальности. Познавать человека, способствовать лучшему пониманию мира, общества, культур и разума — доста-

¹ В качестве подтверждения приведу пример упорного молчания, сопровождающего смерть наиболее выдающихся антропологов нашего времени. Полное безразличие СМИ в связи с кончиной Клода Мейассу (2005), Алена Тестара (2013), Жоржа Баландые (2016), Марка Оже (2023) свидетельствует о потере аудитории нашей дисциплины в средствах массовой информации. Показательным исключением был эмоциональный отклик на кончину Франсуазы Эритье (2017), вызванный, на мой взгляд, не столько известностью ее антропологических трудов, сколько ее активной гражданской позицией и теми аргументами, которыми она смогла снабдить феминистские организации.

точно амбициозная и мотивирующая линия горизонта, чтобы исследователи не поддавались модному соблазну атомизации в духе времени.

Библиография

- Пестей Ф. Свиноводство и мясные деликатесы на Корсике: от домашнего производства и потребления к символу местной идентичности / Пер. с фр. Е.И. Филипповой // Этнографическое обозрение. 2019. № 2. С. 17–31. doi: 10.31857/S086954150004883-1.
- Berger L. L'oeuvre de Maurice Godelier, au delà du structuralisme et du marxisme, aux côtés de Claude Levi-Strauss et de Karl Marx // Jeudy-Ballini M. (dir.). Le Monde en mélanges. Paris: CNRS Editions, 2019. P. 64–94.
- Berlin B., Kay P. Basic Color Terms. Los Angeles, CA: University of California Press, 1969. 178 p.
- Cirese A.M. Du jeu d'Ozieri au numerus clausus des Bienheureux de Dante; Essai d'une typologie idéologique // l'Homme. 1995. No. 136. P. 95–112.
- Clemente P. Les anthropologues italiens et l'Italie // Terrain. 1989. No. 12. P. 101–109.
- Clifford J. Malaise dans la culture. Paris: Ensba, 1996. 389 p.
- Copans J., Adell N. Introduction à l'ethnologie et à l'anthropologie. Paris: Coursus; Armand Colin, 2019. 256 p.
- Darmangeat Ch. Philippe Descola, Bruno Latour et Ramsès II // La Hutte des Classes. 2022, Nov. 1. <<https://www.lahuttedesclasses.net/2022/11/philippe-descola-bruno-latour-et-ramses.html>>.
- Descola Ph. Par-delà nature et culture. Paris: Gallimard, 2005. 618 p.
- Descola Ph. J-P. Digard // L'Homme. 2006. No. 177–178. P. 413–443.
- Dupré M.-Cl. La transcendance de la courgette, ou les dieux nécessaires // L'Homme. [En ligne]. 2002. No. 163. P. 235–244.
- Egré P. Sciences cognitives // Monod J.-Cl. (dir.). Dictionnaire Lévi-Strauss. Paris: Bouquins, 2022. P. 939–944.
- Foucault M. De l'amitié comme mode de vie (entretien avec R. De Ceccaty, J. Danet, J. Le Bijoux) // Foucault M. Dits et écrits, 1954–1988. Paris: Gallimard, 1981. T. 4, texte no. 293. P. 38–39.
- Gauchet M., Swain G. La pratique de l'esprit humain: l'institution asilaire et la révolution démocratique. Paris: Gallimard, 2009. 528 p.
- Geertz C. Savoir local, savoir global; Les lieux du savoir. Paris: PUF, 2012. 354 p.
- Guille-Escuret G. L'enfant, la race et la hiérarchie // L'Homme. 2000. No. 153. P. 291–298.
- Guille-Escuret G. L'écologie kidnappée. Paris: PUF, 2014. 360 p.
- Holbraad M. Contre la motion: les ontologies, une manière autre de concevoir la différence // Rozenberg G. (dir.). La culture en question, Les carnets de Berlose. 2020. No. 13. P. 267–274.
- Jamard J.-L. Anthropologies françaises en perspective; Presque-Sciences et autres histoires. Paris: Kimé, 1993. 283 p.

- Kuhn T.S.* La structure des révolutions scientifiques. Paris: Flammarion, 2008. 288 p.
- Lakatos I.* Histoire et méthodologie des sciences: programmes de recherche et reconstruction rationnelle. Paris: PUF, 1994. 268 p.
- Latour B.* Chroniques d'un amateur de sciences. Paris: Presse des Mines, 2006. P. 51–53.
- Latour B., Woolgar S.* La vie de laboratoire, la production des faits scientifiques. Paris: La Découverte, 2006. 308 p.
- Levi-Strauss C.* La pensée sauvage. Paris: Plon, 1962. 395 p.
- Lenaerts M.* Ontologie animique, ethnosciences et universalisme cognitif // L'Homme. 2006. No. 179. P. 113–139.
- L'Homme. Anthropologie. État des lieux. Paris, 1986. No. 97–98. 411 p.
- Passeron J.-Cl.* Le raisonnement sociologique. L'espace non-poppérien du raisonnement naturel. Paris: Nathan, 1991. 408 p.
- Pesteil P.* Le pied et le sang. Etude des représentations sexuelles a partir de trois légendes corses // Vincensini J.-J. (dir.). Souillure et pureté. Paris: Maisonneuve & Larose, 2003. P. 85–100.
- Pesteil P.* Pour une anthropologie de l'empreinte, approche cognitive et phénoménologique d'une forme. Milan: Mimesis, 2024. 323 p.
- Petitot J. (dir.).* Naturaliser la phénoménologie. Essais sur la phénoménologie contemporaine et les sciences cognitives. Paris: CNRS Editions, 2002. 607 p.
- Petitot J.* Morphologie et esthétique. Paris: Maisonneuve & Larose, 2004. 374 p.
- Scubla L.* Lire Levi-Strauss. Paris: Odile Jacob, 1998. 337 p.
- Scubla L.* Parcours fondateur et pèlerinage aux sources. Note sur la construction mythico-rituelle de l'espace // Visio: International Journal of Visual Semiotics. 2001. Vol. 6. No. 2–3. P. 11–24.
- Sperber D.* Une pensée a l'orée des sciences cognitives // Le Magazine Littéraire. 2008. No. 475. P. 70–71.
- Testart A.* Principes de sociologie générale. Paris: CNRS Éditions, 2021. T. 1. 616 p.
- Weber F.* Brève histoire de l'anthropologie. Paris: Flammarion, 2015. 354 p.

Пер. с фр. Елены Филипповой

СЕРГЕЙ СОКОЛОВСКИЙ

О метанарративах, парадигмах, теориях и концепциях в антропологии

1

Прежде чем ответить на вопрос о необходимости общей теории, следует определить, какое содержание стоит за самим понятием «теория» и чем теории отличаются от концепций, моделей, научных подходов, течений, школ, традиций, научных программ и идеологий и т.д. На мой взгляд, язык антропологии засорен эллиптическими

Сергей Валерьевич Соколовский

Институт этнологии
и антропологии РАН,
Москва, Россия
SokolovskiSerg@gmail.com

конструкциями, понимаемыми слишком буквально. Мы регулярно употребляем выражения типа «теория этноса» (или теория этничности, идентичности), «теория дара», «теория государства», «теория культуры», «теория родства», «теория касты», «теории ритуала», «теории мифа» и т.п. Этот список рискует стать бесконечным, поскольку фразы такого типа, где за термином «теория» следует даже не ее объект, а наименование субстантивированного фрагмента реальности, которую соответствующая теория как-то тематизирует, могут порождаться практически без ограничений. Если перечисленные выражения понимать буквально, то их следовало бы представлять как объектно-ориентированные *концепции*, в которых «концепт» (этничность, дар, каста, ритуал и т.д.) схватывает определенный фрагмент реальности, содержание которого затем интерпретируется в рамках какой-то теории. Теория же, на мой взгляд, все-таки призвана *объяснять* изменения и *процессы*, их *детерминацию* и результаты; она формулирует или эксплицирует *правила* и *закономерности* и содержит элементы прогностики. Ее полные (не эллиптические) обозначения должны отражать ее подлинные объекты, т.е. объясняемые в ней изменения, процессы, каузальность и т.д. Таким образом, нам следовало бы говорить о «теории этнических процессов», или «теории идентификации», о «теории обмена», а не дара, поскольку дар является лишь элементом в цепи дарения, а «обмен» обозначает процесс, охватывающий все наиболее существенные фазы этой стороны хозяйственной деятельности. Мне понадобилось это уточнение, поскольку оно делает очевидным то обстоятельство, что в современной антропологии концепций много, а теорий в описанном выше смысле практически нет. Приведенные выше наименования, претендующие на имена теорий, по своей сути являются скорее программными заявлениями о разработке соответствующих теорий, нежели сколько-нибудь завершенными построениями с ясно выявленными причинными механизмами и возможностями прогнозов. Между тем антропологические словари и энциклопедии регулярно используют термин *теория* даже в отношении локально бытующих *концептов*.

Теперь о *больших теориях*. Четко отличить их от научных *идеологий*, *метанарративов*, *парадигм*, *эпистем*, *подходов*, *течений*, научных *программ* и *школ* или *традиций* вряд ли удастся — вмешиваются не поддающиеся универсализации семантика и прагматика живых языков, в которых нюансы употребления всех этих обозначений не позволяют выстроить единую схему отношений между ними. А если это так, то субъективизм становится здесь неизбежным, хотя, как мне кажется, относительно самого верхнего этажа обобщений (или самого нижнего их уровня, если иметь в виду фундаментальный характер этих

знанием систем) консенсус возможен. В истории антропологии очевидно влияние таких *идеологий*, как идеализм, позитивизм, марксизм или другие формы материализма и натурализма, прагматизм (эмпирический реализм), функционализм, структурализм, постструктурализм, каждая из которых имеет претензию на объяснение онтологических оснований мира и эпистемологических (гносеологических) основ его познания (т.е. собственные *эпистемы*). Тогда на следующем, менее общем по широте охвата уровне объяснений окажутся диффузионизм, эволюционизм, бихевиоризм и прочие подобные *подходы* и *течения* (кажется, именно они больше всего соответствуют понятию *парадигмы*, если, конечно, придерживаться мнения, что и в социальных науках существуют парадигмы). И научные *идеологии* (*метанарративы*), и *парадигмы* (которые, как мне представляется, в случае гуманитарных дисциплин лучше описывать как *стили научного мышления*, нежели как совокупности принципов и законосообразных утверждений, что обычно и ассоциируется в естественных науках с понятием парадигмы¹) универсальны в том отношении, что способны влиять на разнообразие специализации и области исследований в рамках всей дисциплины, и этим они будут отличаться от прокламируемых (однако не достигающих необходимых стандартов теоретического знания естественных наук) теорий среднего уровня и локальных узкоспециализированных теорий. Первые два уровня в представленной таким образом пирамиде знаний и относятся обычно к *большим теориям*.

На гуманитарные дисциплины, разумеется, влияют и вненаучные идеологии, которые я за неимением лучшего обозначу как *ценностные* (на самом деле, все идеологии ценностные), приведшие в случае антропологии к возникновению таких направлений, как феминистская и постколониальная антропология. Существуют разработанные феминистские онтологии (ср., например, работы Розы Брайдотти: [Braidotti 2013]) и феминистская (а также постколониальная) эпистемологическая критика, однако фиксированные позиции субъектов этой критики ограничивают ее универсальность, и, таким образом, оба этих подхода в данном контексте занимают промежуточное положение между универсализирующими научными идеологиями и (квази) парадигмами. По характеру своего влияния на антропологию эти подходы в чем-то аналогичны влиянию на нее различных течений психоанализа.

Вопрос о нынешней востребованности больших теорий требует краткого исторического экскурса. Кажется, не ошибусь, если

¹ Применительно к социальным наукам и гуманитарным дисциплинам я использую этот термин лишь в качестве удобной замены выражения «стиль научного мышления».

скажу, что толчком к распространению скепсиса в отношении метанарративов в социальных науках стала небольшая книжка Жана-Франсуа Лиотара, увидевшая свет в 1979 г. [Lyotard 1979] (по-русски она была опубликована двумя десятилетиями позднее: [Лиотар 1998]), хотя к кризису легитимации научного знания, как известно, еще раньше приложили руки несколько поколений философов науки — от Людвиг Флека, работа которого о научном факте прошла сначала незамеченной [Fleck 1935] и стала известной лишь благодаря сославшемуся на нее в своей «Структуре научных революций» Томасу Куну [Kuhn 1962: VI–VII], до замыкающих (на сегодняшний день) эту плеяду Бруно Латур и его коллег из числа критиков конструктивизма (ср.: [Latour, Woolgar 1979; Latour 1987]). Так или иначе, к концу века ситуация в антропологии была такова, что один из ее тогдашних лидеров, работа которого не утрачивает своей актуальности и сегодня, Йоханнес Фабиан выступил на страницах одного из журналов со статьей с симптоматичным заглавием «С таким изобилием критики и рефлексии — кому нужна теория?» Он сам, однако, ответил на этот вопрос утвердительно — теория нужна, но критическая [Fabian 1991].

К рубежу тысячелетий настроения снова изменились — дискуссии 1980–1990-х гг. относительно необходимости больших теорий отгорели и стали забываться, а нормой для антропологических исследований постепенно стали проблемно-ориентированные междисциплинарные исследования с неизбежной для таких предприятий методологией теоретического бриколажа, доминирующей и сегодня, особенно в российской антропологии, так и не завершившей свое движение в сторону интеграции с мировыми трендами развития антропологического знания, а в ряде научных центров даже сменившей вектор на консервативный возврат к этнологии в ее не самых обнадеживающих вариантах. Так или иначе, начало нового века совпало с ситуацией в антропологии, не только отечественной, которую нельзя рассматривать иначе как *постпарадигматическую*. Характерное для этого периода теоретическое и методологическое бриколёрство имеет как свои сильные стороны (настройка междисциплинарного тезауруса на решение конкретных исследовательских задач), так и слабые (произвол в использовании теоретически нагруженных терминов и чисто «орнаментальное» использование модных концепций как рамки для «украшения» этнографий, выполненных в стандартном эмпирическом дескриптивном ключе).

2

3

Существуют, однако, основания полагать, что настроения в очередной раз меняются в пользу мастер-нарратива (большой теории), способного если не интегрировать все области исследований в рамках антропологии, то придать им общую идеоло-

гическую направленность, т.е. определенный стиль и направление размышлений. Это движение обусловлено, на мой взгляд, двумя параллельно развивающимися и взаимосвязанными процессами: 1) кризисом *представлений* о человеке как главном предмете антропологии и обусловленной этим кризисом необходимости переосмысления «человека» и «человеческого», по крайней мере в рамках дисциплины (на самом деле — в науках о человеке в целом); 2) ускоряющейся трансформацией человека в его сомато-психической целостности (на этот раз не *представлений* о нем, а его самого в *реальности*) в контексте прорывных нейробиологических, инженерно-генетических и информационных технологий.

На место нового метанарратива претендует довольно пестрое в отношении своих генеалогических линий движение, объединяемое лишь вектором своего развития, который я предпочитаю называть *постантропоцентристским*. Критика антропоцентризма в рамках мультивидовой этнографии хорошо известна (предыдущий выпуск «АФ» предоставил множество аргументов в пользу ее справедливости). Постантропоцентристскими по своей сути являются и популярные сегодня исследования в рамках онтологического поворота, включающего в качестве своих реализаций различные версии спекулятивного реализма, плоских онтологий, акторно-сетевых подходов, исследований различных типов интеграции техники и тела (от соматотехник до органопроекций, экстенсий, человеко-машинных ассамблежей и т.п.), концепций распределенного сознания, трансгуманистских спекуляций относительно репликации индивидуального сознания на неорганических носителях и т.п. Даже антропология аффекта сегодня подвергается критике за ее «ментализм» или «интроекционизм» (ассоциацию сознания и чувств исключительно с нейронной деятельностью мозга, или в терминах более отдаленных периодов истории — размещение души в черепной коробке) и уступает под натиском новой феноменологии, описывающей аффекты по аналогии с действующими силовыми полями (подробнее о так называемом атмосферном повороте в социальных науках вообще и в антропологии в частности см.: Этнографическое обозрение. 2024. № 4). Все эти, видимо мало связанные друг с другом, направления или «повороты» располагают собственными онтологическими и эпистемологическими ресурсами, т.е. по своему теоретическому оснащению претендуют на роль метанарратива, способного повлиять на самые разнообразные антропологические специализации. Одновременно они являются и областями генерирования новых методологий и зонами «притяжения» для исследователей, а значит, могут рассматриваться как перспективные.

Еще одной перспективной областью является, как ни странно, вполне традиционная тематика трансформаций повседневной культуры. Горячей зоной, ждущей своих исследователей, здесь оказался постоянно обновляющийся интерфейс между культурными практиками и новыми технологиями, трансформирующими общество и культуру в киберобщество и киберкультуру. К примеру, предмет антропологии детства должен измениться весьма радикально, если принять во внимание роль постоянно появляющихся новых гаджетов в жизни ребенка, перестраивающих основы его взаимодействия с миром, хотя до сих пор этой темой занимаются больше психологи и социологи медиа, а не антропологи. Новые технологии в биомедицине и генетике трансформируют и медицинскую антропологию, создавая для нее новые области и предметы исследований.

Столь же традиционной для антропологии областью, однако способной дать неожиданные результаты, включая теоретические, является антропология профессий. Примерами таких прорывных описаний профессиональных миров могут служить монографии Стефана Хельмрайха о микробиологах, Эдвина Хатчинза о работе команды военного судна или Анны Лёвенхаупт Цзин о грибах мацутакэ и их сборщиках [Helmreich 2009; Hutchins 1995; Tsing 2021]. Каждая из этих книг основана на многомесячных полевых наблюдениях, однако не касается новых профессий. В случае российской антропологии (если говорить об исследованиях профессиональных миров, а не досуговых субкультур или культур так называемых тотальных организаций типа армии или больницы, где монографии, написанные на основе длительного погружения, исключением не являются) мы пока располагаем лишь сборниками статей, написанных на материалах интервьюирования и краткосрочных наблюдений (известными сериями работ под редакцией Павла Романова и Елены Ярской-Смирновой и в случае академических профессий — сборниками под редакцией Галины Комаровой), и, если не ошибаюсь, лишь парой монографий, написанных в жанре аналитического обзора, дополненного конкретными кейсами из собственных полевых наблюдений и интервью, взятых студентами и коллегами автора [Щепанская 2010; Пинчук 2021]¹. Потенциал этого направления заключается в открываемой им возможности соответствия темпу инноваций за счет внимания к представителям новых профессий и к изменениям профессий традиционных. Помимо изучения влияния трансформирующего воздействия на нашу повседневность результа-

¹ Коллеги поправили мою память, напомнив о монографии Ольги Пинчук. Я также вспомнил и диссертацию о кочевых школах на Ямале Александры Терехиной, проработавшей более года учительницей в одной из этих школ, однако публикационная судьба этого текста мне неизвестна.

тов работы, к примеру, специалистов по био-, медиа- или AI-технологиям, антропологи в ходе исследования новых профессий получают еще и возможность наблюдения за подробностями складывания новых субкультур с их практиками и ритуалами.

Наконец, я вижу хороший фундамент для многообещающего синтеза антропологии тела и техноантропологии в такой области исследований повседневности, как исследования привычек. До сих пор антропологи сосредоточивали свое внимание лишь на части диапазона рутинных действий, по преимуществу на ритуалах и (ремесленных) умениях. Между тем исследование привычек, мимо которого, кстати, не проходил ни один из крупных философов, предоставляет уникальную возможность наблюдения за трансформациями как тела, так и сознания, а лучше сказать — за трансформациями телесно интегрированного (воплощенного) сознания. Эти рутинные взаимодействия с артефактами и прочими элементами среды, во-первых, меняют схему тела и структуры мозга, что уже давно отмечено нейробиологами, исследующими его гиперпластичность (здесь мы можем говорить, что среда буквально «прорастает» в тело, меняя его морфологию); а во-вторых, исследования привычек позволяют наблюдать и встречный процесс делегирования функций элементам среды, т.е. функционирование экологически распределенного сознания, о котором писали Грегори Бейтсон, Эдвард Холл и Эдвин Хатчинз, а среди философов сознания, психологов и физиологов, если назвать здесь только самых влиятельных из них, — Энди Кларк и Дэвид Чалмерс, Франсиско Варела, Элеанор Рош и Эван Томпсон. Исследование привычек в антропологии позволяет весьма радикально переосмыслить отношения между телом и техникой, человеком и культурой, организмом и средой и существенно обновить наши представления как о человеке, так и о культуре как совокупности экологических ниш, которые человек непрерывно создает и обновляет.

5

Исчезновение или утрата престижа в случае конкретной теории в наших дисциплинах нередко объясняется влиянием внешних факторов или перемены моды, поскольку, в отличие от естественных наук, мы значительно реже сталкиваемся с опровержением теории под давлением новых фактов. Бесполезно в этой связи приводить примеры из истории физики, химии, геологии или биологии. Как однажды заметил Гирц, попытки предоставить социальным явлениям причинные объяснения, т.е. предложить каузальные теории, сродни мегаломании [Geertz 1983: 4, 6]. Я склонен с ним согласиться, поскольку также считаю претензии социальных исследователей на формулирование законов (за рамками анекдотических корреляций типа той,

в соответствии с которой число священников и преступников в американских городах подтверждается с высокой степенью достоверности) избыточными. Но если в приведенном анекдоте скрытый фактор — размер городов — вполне очевиден, то в квазикаузальных объяснениях социальных и культурных процессов, где число скрытых факторов заведомо превышает число наблюдаемых или хоть как-то контролируемых, претензии, выходящие за рамки попыток *понимания* и *интерпретации*, никого не убеждают. Науки, умеющие предсказывать (как астрономия — орбиты планет или химия — свойства новых соединений), подтверждают открытые ими цепи причинностей, иначе говоря — формулируют теории и законы. Претендующие на научность социальные «науки» не располагают надежными прогнозами, а прогнозируемые ими вероятностные события по уровню своей точности напоминают прогнозы погоды на год вперед и (по оценкам некоторых моих коллег) менее надежны, чем шаманские гадания. Суждения по модели “highly likely” распространены не только среди британских политиков — они давно стали неотъемлемой частью многих областей в исследованиях общества и культуры из числа тех, что продолжают разделять позитивистские идеалы. К этому числу относится ряд приложений эволюционистских концепций к современным обществам (Клиффорд Гирц со свойственным ему остроумием назвал их «любопытной комбинацией здравого смысла и нелепицы — “a curious combination of common sense and common nonsense” [Geertz 1983: 21]), за которыми помимо тропа *угодобления* организма (генетическому) автомату или человека — машине (детерминистские объяснения всегда механистичны) не стоит ничего, кроме громоздкой *технологии убеждения* и успешной *бизнес-модели*, приносящей сверхприбыли издательскому бизнесу (ср.: [Pinfield 2016; Edwards, Roy 2017; Соколовский 2022]).

Контекстуально богатые герменевтические описания, поставляемые хорошей этнографией, в данном отношении оказываются много убедительнее, поскольку позволяют понимать логику местной жизни, не сводя ее к механистическим моделям генетической или иной детерминации. Эти наблюдения, всегда не исчерпывающие, не позволяют формулировать законы, однако способны создавать перечни факторов, действие которых обеспечивает само существование наблюдаемого. Лежащая в основе таких наблюдений современная онтология описывает мир как совокупность ситуаций включенности и взаимодействия силовых полей, а не как серию событий или совокупность вещей и отношений между ними. *Объяснительные* конструкции (*локальные теории*) в рамках данного стиля мышления вполне возможны как ограниченные *модели* взаимодействия наблю-

даемых факторов, критерием соответствия которых остается логическая непротиворечивость, даже если речь идет о специфических формах местных культурных логик. Полезность таких моделей возрастает, если они позволяют лучше *понимать* формы местной жизни. Эмпирическая подтверждаемость такого рода понимания носит иной характер, нежели ее аналоги в естественных науках.

Вернемся, однако, к вопросу о смене научной моды или стиля мышления. Одним из подталкивающих к такой смене факторов может оказаться простое обновление поколений исследователей и ситуация, когда новое поколение бунтует против воззрений своих учителей. Известный литературный критик Гарольд Блум назвал лежащую в основе таких эдиповых порывов тревогу «озабоченностью влиянием» [Bloom 1997]. Каждый ученый желает сделать собственный вклад в науку, и такая озабоченность новизной не может не создавать основы для критики прежних подходов, тем самым подготавливая почву для перемен. Стоит обратить внимание и на ускорение темпа смены научных поколений вместе с уже отмеченным выше возрастающим темпом инноваций, не только технологических, но и обусловленных ими социальных, культурных и психологических. Если прежде смена поколений в науке в целом соответствовала длине демографического поколения, составлявшей в среднем четверть века, то сегодня этот срок сократился до 7–10 лет, и на наших глазах поколение миллениалов сменяется поколением зумеров, уже подталкиваемых поколением альфа. Похожее происходит и за стенами академии — миллениалы и зумеры плохо понимают друг друга, а их пристрастия и вкусы уже совсем не разделяются представителями поколения альфа. Впрочем, это социологическое объяснение смены научных вкусов и мод может рассматриваться лишь как еще одна экстерналистская гипотеза развития научного знания, только косвенно объясняющая его внутреннюю динамику.

История литературной критики предоставляет нам еще одну похожую «причину» смены интересов у людей творческих профессий. Поль Валери в эссе, представляющем комментарий к его поэме «Кладбище у моря», оставил нам замечание относительно незавершенности, часть которого стала впоследствии мемом — «работа никогда не завершается, она просто бросается»¹, на разные лады повторяемым не только литераторами (напри-

¹ Aux yeux de ces amateurs d'inquiétude et de perfection, un ouvrage *n'est jamais achevé*, — mot qui pour eux n'a aucun sens, — *mais abandonné*; et cet abandon, qui le livre aux flammes ou au public (et qu'il soit l'effet de la lassitude ou de l'obligation de livrer) est une sorte d'accident, comparable à la rupture d'une réflexion, que la fatigue, le fâcheux ou quelque sensation viennent rendre nulle [Valéry 1933: 399].

мер, Уинстэном Оденом, Оскаром Уайльдом или Гором Видалом, приписывавшим это изречение Жану Кокто), но и антропологами, например Клиффордом Гирцем в его популярном предисловии к книге очерков “Local Knowledge” [Geertz 1983: 6]. Это изречение, видимо, вполне подходит и к рутинной работе социальных исследователей, включая работу теоретическую, поскольку даже в книгах (я имею в виду антропологов), названия которых содержат это слово, редко встречаешь сколько-нибудь завершенное и непротиворечивое изложение предмета той теории, обозначение которой вынесено на обложку книги. Видимо, Валери был близок к истине, когда писал, что понятие «завершенная» для «ищущих совершенства» творцов теряет смысл.

Любопытные материалы для историков и философов науки дает рассмотрение случаев утраты интеллектуальной привлекательности конкретными теориями типа советской теории этнических процессов ($\approx$ теории этноса). Я хорошо помню кулуарные дискуссии середины 1980-х гг. среди аспирантов тогдашнего Института этнографии, дневавших и ночевавших в библиотеках и хорошо осведомленных обо всех новых поступлениях (эта часть культуры с появлением интернета и экспоненциальным ростом объемов информации, увы, практически утрачена), когда мы обсуждали сборники под редакцией Фредрика Барта [Barth 1969] или Натана Глэзера и Дэниэла Мойнихана [Glazer, Moynihan 1975]. Не ускользнула от внимания и вышедшая несколько позже статья Теодора Шанина об этничности в Советском Союзе [Shanin 1989]. Однако кулуарные дискуссии в этом конкретном случае мало повлияли на статус доминирующей теории, видимо, потому что они происходили на самом низу академической иерархии, которая в то время блюлась много жестче, чем сегодня.

В этом контексте интересна версия причин смены парадигмы, рассказанная в начале 2000-х новым директором этого института В.А. Тишковым, согласно которой он впервые усомнился в правильности теории этноса после выступления Ричарда Хэндлера на одном из советско-американских симпозиумов и обмена с ним мнениями по поводу культурных единиц и их границ [Тишков 2003: 26]. Хэндлер в 1987 г. еще не был историком антропологии, он начинал как историк национализма в Квебеке, издав годом позже книгу по этой теме. Не был он, строго говоря, и специалистом в области этнической идентичности. Главной теоретической заслугой на тот период, отмеченной рецензентами его книги, была предложенная им модель политической мобилизации, описывающая вместо одной три ее фазы (мобилизацию, демобилизацию и ремобилизацию), а его утверждение в разговоре с советским коллегой, что «культура

не существует в форме естественно очерченных единиц» и что антропология, отстаивающая обратное, оказывается ресурсом для местных национализмов и сепаратизма (цит. по: [Тишков 2003: 26]), было скорее общим местом, нежели каким-то новаторством. Воспринимать это утверждение как исходящее, что называется, “straight from the horse’s mouth”, тем более что сборник Ф. Барта не только был уже давно известен, но и упоминался в обзорах Ю.В. Бромлей [Бромлей 1973: 23; 1983: 12, 17–19, 231], мог только плохо осведомленный в тогдашней антропологии историк, каким тогда был В.А. Тишков. Однако этот эпизод интересен не как иллюстрация невежества историков относительно концепций их коллег из смежных дисциплин. Он интересен в контексте рассмотрения смены парадигмы или, скорее, смены словарей анализа и стилей мышления и социологического воображения в советской этнографии того времени. Здесь не место для воспроизведения развернувшихся в начале 1990-х гг. дискуссий, да и сама эта история уже не раз описывалась и хорошо известна. Однако я хотел бы обратить внимание на остававшуюся до сих пор в тени (в отличие от *аргументации* сторон или оценок институциональных факторов, например влияния той же академической иерархии) роль *консенсуса* в научном сообществе. Динамика его установления или размывания редко привлекает внимание историков науки. Между тем консенсус играет весьма важную, если не ключевую роль в смене аналитических тезаурусов и онтологий в наших дисциплинах и даже в смене парадигм в науках, по традиции обозначаемых как точные. Об этом писал еще в начале прошлого века известный физик и философ науки Анри Пуанкаре, рассуждая о соотношении теорий и принципов, в формулировании которых, по его мнению, значимую роль играют «свободные» и «замаскированные соглашения» [Пуанкаре 1990: 114–115]. В описанном выше кейсе смены одного взгляда на этнические сообщества и процессы на другой, помимо отмеченной уже роли административного ресурса, стоит присмотреться и к недостаточно документированному процессу размывания консенсуса в сообществе российских этнографов того периода, подготовившему почву для таких перемен.

4

Из-за его сложности я оставил ответ на этот вопрос «на десерт». Если попытаться в виде самоотчета перечислить проблемы, которые интересовали меня в последние 5–7 лет, — взаимоотношения тела, среды и техники; статус техники в отношении к человеку; практики взаимодействия с (ближней) средой и эволюция привычек и умений; статус артефактов, их роль в работе воображения, памяти, аффекта; экологически распределенные когнитивные и аффективные функции; нарастающая с развитием новых технологий киборгизация человека; цифро-

вая антропология и особенности ее поля и методов; попытки проектирования аффективных измерений искусственной (ближней) среды; экология аффекта и аффективные атмосферы; проблематика так называемой минимальной разумности (*minimal sentience*) у растений или вообще у любых клеточных организмов (*cell sentience*), то этот на первый взгляд пестрый набор тем и исследовательских областей может быть интерпретирован как стремление к интегративному пониманию человека и человеческого в их взаимодействиях со средовыми (включая артефакты культуры и техники), соматическими и аффективными феноменами в русле размышлений о надвигающейся эре постчеловека с ее постантропоцентристской идеологией. Собственно, эта идеология или направление поиска и служит своеобразной метатеоретической рамкой, объединяющей все множество этих относительно новых для антропологии направлений исследований. Необходимость этих исследований для меня очевидна, как очевидно и ускорение коэволюции человека и технологий, эту необходимость обуславливающее. Разумеется, погружение в эти темы требует от антропологов выхода из зоны комфорта, т.е. за рамки привычных и давно освоенных ими проблематики и дисциплинарного тезауруса, однако такой выход мне представляется и уже происходящим, и неизбежным.

Библиография

- Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. М.: Наука, 1973. 283 с.
- Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М.: Наука, 1983. 412 с.
- Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб.: Алетейя, 1998. 160 с.
- Пинчук О. Сбои и поломки: этнографическое исследование труда фабричных рабочих. М.: Common Place, 2021. 208 с.
- Пуанкаре А. О науке. М.: Наука, 1990. 736 с.
- Соколовский С.В. Публикационная политика и проблемы развития антропологических исследований в России // Вестник РАН. 2022. Т. 92. № 2. С. 131–139.
- Щепанская Т.Б. Сравнительная этнография профессий: повседневные практики и культурные коды (Россия, конец XIX — начало XXI в.). СПб.: Наука, 2010. 338 с.
- Barth F. (ed.). *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Cultural Change*. Boston: Little, Brown & Co., 1969. 153 p.
- Bloom H. *The Anxiety of Influence*. New York: Oxford University Press, 1997 (1st ed. 1973). XLVII+157 p.
- Braidotti R. *The Posthuman*. Cambridge: Polity Press, 2013. VI+229 p.
- Edwards M.A., Roy S. Academic Research in the 21st Century: Maintaining Scientific Integrity in a Climate of Perverse Incentives and Hypercompetition // *Environmental Engineering Science*. 2017. Vol. 34. No. 1. P. 51–61.

- Fabian J.* With So Much Critique and Reflection Around, Who Needs Theory? // *Annals of Scholarship*. 1991. Vol. 8. P. 381–408.
- Fleck L.* Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv. Basel: Benno Schwabe & Co., 1935. 190 S.
- Geertz C.* Local Knowledge, Further Essays in Interpretive Anthropology. New York: Basic Books, 1983. VII+244 p.
- Glazer N., Moynihan D.* (eds.). *Ethnicity: Theory and Experience*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1975. IX+531 p.
- Helmreich S.* *Alien Ocean: Anthropological Voyages in Microbial Seas*. Berkeley, CA: University of California Press, 2009. 375 p.
- Hutchins E.* *Cognition in the Wild*. Cambridge, MA: The MIT Press, 1995. 402 p.
- Kuhn T.* *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago, IL: The University of Chicago Press, 1962. XIV+212 p.
- Latour B.* *Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers through Society*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987. VIII+274 p.
- Latour B., Woolgar S.* *Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts*. Beverley Hills, CA: Sage, 1979. 271 p.
- Lyotard J.-F.* *La Condition postmoderne: rapport sur le savoir*. Paris: Les Editions de Minuit, 1979. 128 p.
- Pinfield S.* Mega-journals: The Future, a Stepping Stone to It or a Leap into the Abyss? // *The Times Higher Education*. 2016, Oct. 13. <<https://www.timeshighereducation.com/blog/mega-journals-future-stepping-stone-it-or-leap-abyss>>.
- Shanin T.* Ethnicity in the Soviet Union: Analytical Perceptions and Political Strategies // *Comparative Studies in Society and History*. 1989. Vol. 31. No. 3. P. 409–424. doi: 10.1017/s001041750001597.
- Tsing A.* *The Mushroom at the End of the World: Possibility of Life in Capitalist Ruins*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2021. 352 p.
- Valéry P.* Au sujet du Cimetière marin // *La Nouvelle Revue Française*. 1933, Mars. No. 234. P. 399. <<https://www.lanrf.fr/products/la-nouvelle-revue-francaise-n-234-mars-1933>>.

АНДРЕЙ ТУТОРСКИЙ

В своих рассуждениях я представляю не только свои личные мысли, но и те идеи и перспективы видения отечественной и мировой этнографической / антропологической науки, которые были распространены у части преподавателей кафедры этнографии МГУ (среди них М.В. Витов, Л.П. Лашук, Г.Г. Громов, А.А. Никишенков [Никишенков 2016]). Среди британских исследователей поразительно схожие идеи высказывает, например, Д. Миллер [Miller 2017].

Андрей Владимирович Тutorsкий
Московский государственный
университет,
Москва, Россия
tutorski@mail.ru

1

Понятие «большой теории» имеет субъективную составляющую. С одной стороны (и во-первых), «большой» теорией была теория этноса в советской этнографии, которая охватывала (почти по-дюмоновски) все остальные советские теории, представляя собой высший уровень теоретической иерархии в этнографии. Иными словами, это, в первом значении, официально признанная теория. С другой стороны (и во-вторых), в одной из отраслей советской этнографической науки — теории первобытного общества — ряд ученых (Н.А. Бутинов, В.Р. Кабо, А.И. Першиц) разработали теоретические положения (невозможность существования родовой общины, периодизацию форм первобытной общины). Эти теоретические наработки не имели с бюрократической точки зрения высокого теоретического статуса, однако по сути были сопоставимы по уровню теоретизации с «теориями этноса». Кроме того (и в-третьих), в советской этнографической науке разрабатывалась теория ХКТ / ИЭО [Ямсков 2017; 2023], которая по свидетельствам таких ученых, как Т.И. Алексеева, С.А. Арутюнов, Г.Е. Марков, стала основным теоретическим достижением советской этнографической науки [Ямсков 2023: 20]. Иными словами, именно концепция ХКТ / ИЭО и сложившаяся под ее влиянием концепция жизнеобеспечения и были «самой большой» теорией советской этнографии.

Итак, в советской этнографии было как минимум три «больших теории», однако, когда мы говорим о советском периоде, чаще всего под большой теорией понимается теория этноса (причем в любом изводе, несмотря на то что это были часто противоречащие друг другу теории). Теория этноса стереотипно воспринимается как некая «главная теория», причем именно наличие такой теории считается особенностью развития советской централизованной этнографической науки.

В противоположность этому в западной науке единая «большая» теория отсутствует. Однако и в западной (лучше всего знакомой нам англоязычной) антропологической мысли также можно найти попытки создания больших теорий. Не претендуя на полноту, приведу несколько значимых примеров: «Научная теория культуры» Б. Малиновского (1942), «Структурная антропология» К. Леви-Строса (1949) или недавняя работа М. Салинза «Новая наука очарованной вселенной. Антропология большей части человечества» (2017). Все эти работы представляют собой попытки создания большого нарратива в антропологии (в случае работы Малиновского — не очень большого по объему). Однако чаще всего именно эти работы оказываются наименее востребованными, и они наиболее последовательно подвергаются критическому разбору. Все они показывают, что этнографы и антропологи хотят «большой теории» и не оставили надежды вернуться к большому нарративу в стиле «Золотой ветви».

Однако на каждом новом этапе попытка создания большого нарратива и «большой теории» встречалась с новыми вызовами. В середине XX в., когда писали Малиновский и Леви-Строс, важнейшим вопросом была системность и структурность теории, которая должна была собрать воедино бесконечные эмпирические материалы. В начале XXI столетия важнее оказался вопрос о том, насколько «большая теория» отражает незападные общества. С такого ракурса теория этноса безусловно европоцентрична и нарциссична, а теоретические построения Бутинова, Кабо и Першица относятся к «большей части человечества» и оказываются теориями более широкого охвата и высокого уровня.

«Большие теории» очень часто отвечают на ключевой вопрос своего времени, но не дают подлинно большого по масштабности понимания проблем культуры, человека, коллективизма или индивидуальности. Любая «большая теория» оказывается исторически опосредованной и перестает быть «большой» при рассмотрении со следующей ступени исторического или теоретического развития. Это формирует патовую ситуацию: ни одна «большая теория» не останется «большой» на протяжении жизни даже двух поколений исследователей. Выход из нее видится учеными в том, что все теории, создаваемые этнографической / антропологической наукой, не сменяют друг друга (как жрецы в храме Дианы Немийской, охраняющие золотую ветвь), а становятся в один ряд / группу (формируя Левиафана). Именно об этом писал Д. Миллер, указывая на «безграничность этнографии» по отношению к отвлеченным теоретическим построениям: «[X]очется, чтобы антропологи периодически погружались в этот смиряющий опыт этнографии, где им снова приходится осознавать, что мир всегда намного больше, чем мы можем себе представить» [Miller 2017: 30]. А.А. Никишенков высказывал эту мысль несколько иначе: «[В]се то, что сейчас стремится, как нам кажется, уничтожить друг друга, я вас уверяю, в нашей традиции откладывается в общий фонд <...> Наше ремесло — это не кладбище, это банк идей и банк различных подходов» [Никишенков 2016: 12].

2
4

С точки зрения описанного выше подхода само понимание движения от теории к описанию или от описания к теории становится очень условным. Этнограф / антрополог едет в поле с теоретическими установками, однако в поле эти установки корректируются локальными представлениями людей, с которыми он работает. Эти представления меняются полностью или синтезируются с теми установками, которые существовали у наблюдателя накануне отъезда. Проиллюстрирую на примере работ британской исследовательницы М. Стратерн. В 1964–1965 гг. она, будучи женой антрополога Э. Стратерна, участвовала в полевом исследовании группы кавелка из окрест-

ностей Маунт-Хагена (ныне провинция Вестерн Хайлендс, Папуа — Новая Гвинея). По результатам полевого исследования Эндрю опубликовал серию работ об обмене мока у кавелка, а Мэрилин первоначально сконцентрировалась на изучении разводов среди папуасов. Однако, по мере того как слушала ответы и изучала статистику, она приходила к мысли, что рассказывают ей не столько о разводах, сколько об отношениях мужчин и женщин вообще. Более того, отношения мужчин и женщин (включая вопрос, что есть «мужское» и что «женское») — это часть представлений об отношениях между индивидуумами, мироустройстве и обществе. В 1972 г. вышла работа исследовательницы «Женщины среди. Женские роли в мужском мире» (“Women in between. Female Roles in a Male World”), в которой на материалах окрестностей Маунт-Хагена говорилось о том, как конструируется «мужское» и «женское», как живут женщины в мире, который сконструирован мужчинами. А в 1988 г. выходит работа «Гендер дара» (“Gender of the Gift”), в которой ставится под сомнение универсальность идеи «общества» и выдвигается понятие «дивидуума» (делимой персоны, состоящей из нескольких Я) как альтернативы европейскому индивидууму.

Слушая разговоры о причинах разводов среди папуасов, Мэрилин видела в них нечто большее, чем просто отношения определенных мужчины и женщины в конкретной ситуации. Ситуации и реплики были производными от базовых мировоззренческих категорий, которые также присутствовали в ответах хагенцев. Понять здесь, как происходило движение от теории к эмпирике или наоборот, очень сложно. С одной стороны, мать Мэрилин Джойс Эванс, также преподававшая в Кембридже, «проводила занятия по женщинам в литературе, женщинам в искусстве, женщинам в этом, женщинам в том» [Latimer, Strathern 2019: 487]. Иными словами, особое внимание к положению женщин, к тому, как они (не) вписываются в мужской мир, у Мэрилин было до поездки в Новую Гвинею. С другой стороны, именно в беседах о папуасских ритуалах, в которых трансформировались в мужчин и женщин изначально «андрогинные дети» [Strathern 1988: 186], формировалось понимание неуниверсальности европейского концепта индивидуума. Иными словами, очевидна и трансформация теории под воздействием полевого опыта.

Схожих примеров много и в отечественной традиции. Например, М.В. Витов в ходе экспедиционных работ 1948 и 1953 гг. нашел на Русском Севере «гнездовой тип» расселения. Рассматривая эту поселенческую особенность северян (вепсов, карел и русских) как географическую специфику, он тем не менее видел в ней нечто большее. Витов писал, что особенности расселения — это «материальное оформление» общественного строя в местных условиях» [Витов 1953: 36]. Таким образом,

в географической конкретике он видел социально-культурное общее. Точно так же как М. Стратерн, изучая локальное в особенностях разводов, пришла к теории высшего уровня, Витов двигался от конкретных наблюдений к усовершенствованию теоретических построений более высокого уровня: концепций этногенеза, которые были популярны в то время, и особенностей развития общины.

Подводя итог, можно сказать, что, используя или формулируя локальную теорию (объясняя гнездовой тип поселений или особенности отношений мужчин и женщин), исследователь неизбежно задействует и «большую» теорию (этногенеза или «общества»). Возвращаясь к идее, высказанной Д. Миллером, именно погружение в поле дает возможность универсализировать частные европоцентристские построения, делать их применимыми к «большой части человечества».

Библиография

- Витов М.В. О классификации поселений // Советская этнография. 1953. № 3. С. 31–37.
- Никишенков А.А. Речь Алексея Алексеевича Никишенкова, произнесенная на 70-летие кафедры этнологии исторического факультета МГУ (декабрь 2009) // Исторические исследования: журнал исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 2016. № 4. С. 8–12.
- Ямсков А.Н. Системы жизнеобеспечения и хозяйственно-культурные типы // Этнос и среда обитания: Сб. ст. по этноэкологии. М.: Старый сад, 2017. Вып. 5: Исследования систем жизнеобеспечения. С. 36–46.
- Ямсков А.Н. Концепции хозяйственно-культурных типов и историко-культурных областей — вклад советской этнографии в культурно-географическое районирование // Географическая среда и живые системы. 2023. № 2. С. 47–74.
- Latimer J.E., Strathern M. A Conversation with Marilyn Strathern about Intimacy and Entanglement // The Sociological Review. 2019. Vol. 67. No. 2. P. 481–496. doi: 10.1177/0038026119832424.
- Miller D. Anthropology Is the Discipline but the Goal Is Ethnography // HAU: Journal of Ethnographic Theory. 2017. Vol. 7. No. 1. P. 27–31. doi: 10.14318/hau7.1.006.
- Strathern M. The Gender of the Gift: Problems with Women and Problems with Society in Melanesia. Berkley, CA; Los Angeles, CA; London: University of California Press, 1988. 422 p.

СЕРГЕЙ УШАКИН

Сергей Ушакин

Принстонский университет,
Принстон, США
oushakine@princeton.edu

1

Прочитав первый вопрос, я споткнулся. И вспомнил еще раз, что “beauty is in the eye of the beholder,” или, в данном случае: классификация — это проекция классифицирую-

щего. Поясню на примерах из своей педагогической практики. Я преподаю на кафедре антропологии в Принстоне, где обучение студентов ведется по трем так называемым направлениям: 1) медицинская антропология, 2) антропология права, политики и экономики и 3) социокультурная антропология. Вопрос об «общей», или «большой», теории не возникает (не возникал) ни в одном из этих направлений. Теория воспринимается во многом как способ сюжетостроения, т.е. как организационная рамка, делающая возможным такое связанное повествование, в ходе которого (этнографический) материал превращается в (проблемную) историю. Место большой, или общей, теории у нас занимает дискуссия о методах, т.е. о том, как именно получать знание («данные»), как его кодифицировать, архивировать и обобщать. Понятно, что такая установка на методы строится на вполне *теоретическом* понимании «знания», но я думаю, это понимание формируется не антропологическими теориями.

Примерно так же строится и аспирантское образование. Все наши аспиранты первого года должны участвовать в историко-теоретическом просеминаре, который преподается в течение двух семестров двумя разными преподавателями. Первый семестр обычно посвящен «классике», второй — более современным дебатам. Сейчас я как раз веду вторую часть этого просеминара, на котором мы читаем тексты 1980–1990-х гг., вызвавшие оживленную дискуссию в антропологической среде (книги типа “Writing Culture” или “Anthropology as Cultural Critique” и т.п.). Во многом они определили (и позитивно, и негативно) современное состояние антропологического знания¹. Но и в этом случае, повторяюсь, теория мне важна скорее как набор эпистемологических приемов и интерпретационных подходов для организации этнографического материала, а не как «искусство ради искусства».

Постструктурализм и деконструкция 1980–1990-х, как мне кажется, были последними «большими» теориями, которые претендовали на некий глобальный охват и эффект. Во время моей учебы в аспирантуре в Колумбийском университете в конце 1990-х — начале 2000-х гг. все аспиранты-антропологи легко делились на три теоретических «лагеря»: «дерридисты», «фукуйишники» и «бенъяминцы». Все три лагеря легко находили общий язык, но все три значительно различались в плане своих интересов, методов, способов аргументации и выбора полей. Сейчас я такого деления не вижу не только среди аспирантов,

¹ С программой семинара можно ознакомиться здесь: <https://www.academia.edu/45476159/Course_Syllabus_Spring_2025_Proseminar_in_Anthropology_From_Ethnographic_Sites_to_Ethnographic_Texts_ANT_502_>.

но и среди коллег. Мне кажется, что время деления по теоретическим партиям прошло. Точнее, настало время не партий, а «кружков по интересам», «малых» теорий. Те теоретические волны, которые мы видели в течение последних 20–25 лет, будь то сетевая теория Латура, разнообразные новые материализмы, аффективный поворот, пост- и деколониальные исследования, новые медиа и цифровые технологии и т.п., — это во многом теории, как когда-то говорили, «среднего уровня».

Иными словами, вместо небольшого количества больших теорий сейчас мы имеем большое количество небольших теорий.

Разумеется, эта ситуация фрагментирует дискурсивное поле дисциплины, что, в свою очередь, ведет к упрощению и инструментализации самих теорий. Мало кому из антропологов придет в голову спорить сегодня о различиях подходов, скажем, раннего и позднего Фуко. Или, допустим, выстраивать теорию мимезиса на основе бесед с текстами Бенъямина. Скорее речь идет о прикладном использовании конкретных идей.

В 1932 г. Виктор Шкловский объяснял Сергею Эйзенштейну, что время барокко прошло, что на смену мышлению «кусками» (барокко) приходит «непрерывное искусство» (неоклассика). На мой взгляд, мы сейчас движемся в обратном направлении, приближая время барокко — не в смысле завитушек, избыточности и прочих виньеток ложной сути, но в смысле привилегированного внимания к детали, несвязанности, кускам — внимания, в значительной степени нивелирующего важность метапозиции и ощущения структурной целостности, которые были так важны в прошлые десятилетия.

2

Это движение от теории к описанию, по-моему, так и не остановилось. Более того, происходит «теоретизация» процесса антропологического / этнографического письма, активно начатая авторами “Writing Culture”. Правда, эта теоретизация происходит сейчас на другом уровне. Если раньше дискуссии о письме и описании строились вокруг позициональности автора, текстуального насилия, символического порядка и тому подобных постструктуралистских тем, то сейчас на первый план выходят разные аспекты *социальных контекстов*, в которых описания становятся возможными. Установка на социальную уединенность / автономность авторов все той же “Writing Culture” активно заменяется последовательной установкой на слушателя / собеседника, который понимается как активный участник процесса описания. Показательно, что все чаще антропологи классифицируют свои описания как *storytelling*, т.е. как интерактивное событие, в котором описание — это и объект, и метод, и действие, и среда.

Разумеется, в определенной степени эта установка на аудиторию присутствовала и раньше, но тогда аудитория виделась как продолжение автора другими средствами, как «интерпретационное сообщество» (по определению Стенли Фиша), которое обладало тем же эпистемологическим активом (но, может, в меньших размерах), что и сам автор. Сейчас такое «единство» представить трудно. Ситуация распределенного авторства не оставила и следа от автора-описателя, находящегося в центре процесса гирцевого «насыщенного описания».

Понятно, что такой сдвиг в понимании описания был бы невозможен без многолетней работы с *testimonio*, без дискуссий о культурной апроприации, семинаров и конференций о том, как и в какой форме угнетенные могут говорить и т.п. То есть без той теоретической работы, которая позволила проблематизировать «объективность» дискурса и заставила задуматься о том, как преодолеть гомогенизирующий эффект, который возникает в процессе «авторского» подхода к антропологическому «нарративу».

Во многом эта тенденция к «литературизации» антропологии напоминает мне усилия по «формовке» массового советского писателя в 1930-е гг. с ее бесконечными пособиями и курсами по технике писательского мастерства (*creative writing*, если использовать нынешнюю транскрипцию). Например, в списке аспирантских семинаров у нас постоянно есть семинар о *Литературной антропологии*, а среди самих аспирантов немало пишущих. Так сказать, *anthropoetry is a real thing, too*.

Во многом такой акцент на литературном качестве этнографических описаний связан с изменением в издательской практике. Журналы и университетские издания расширяют круг своих потенциальных читателей, в том числе и за счет новых жанров. Но для меня важным тут является другое: в основе этой литературизации лежит базовое антропологическое осознание того, что описание — это продукт, результат работы, которая предполагает определенный протокол действий, набор условностей и репертуар приемов. Перефразируя Бориса Эйхенбаума, мы знаем, как сделать «Шинель» Гоголя.

Обнаженность приемов и «сделанности» дает возможность продемонстрировать важный этический и политический момент — *вариативность, нестабильность, условность* итогового описания. Из того же самого материала при помощи другого набора приемов описания можно было бы создать совсем иную сюжетную композицию. Этот подход особенно четко можно проследить на эволюции антропологических исследований материального мира. Традиционная семиотическая ориентация исследователей «материальной культуры», декодирующая

разнообразные скрытые и малопонятные «знаки» и «смыслы», активно вытесняется исследованиями *материалов* и *материальности*, т.е. тех характеристик, которые *присущи самим объектам*, но которые могут быть по-разному активированы их пользователями. Подчеркну общую тенденцию: в исследованиях материальности объект / вещь становится активным участником этнографического процесса, так же как и слушатель-соучастник в ходе *storytelling*².

Учитывая все сказанное, я бы, наверное, говорил о том, что происходит движение *от теории к материалу*. Авторы-антропологи отличаются все больше не тем, *как* они анализируют, а тем, *что* они анализируют. Именно тут, на мой взгляд, и проявляется наиболее ярко оригинальность подхода, взгляда и метода.

Мы только что закончили отбор в аспирантуру, и каждый год мы сталкиваемся с общей тенденцией. Практически все кандидаты так или иначе знакомы с базовыми теоретическими подходами, условно говоря, от Агамбена до Фуко. Но только единицы способны найти новый материал, который позволил бы высветить что-то неизвестное в хорошо знакомых теориях. Превратить теорию в материал непросто.

3

Тезис о «развитии теории» предполагает ее какое-то отдельное, самостоятельное существование вне материала, из которого она вырастает. Я такой подход не очень разделяю. Повторюсь, мне кажется, что цель теории — помочь в организации этнографических данных и этнографического описания, а не загнать их в готовые шаблоны.

Например, я довольно долго собирал полевой материал в Бишкеке и Минске в рамках своего проекта о постколониях социализма. Мне было интересно понять, каким образом в этих случаях может проявлять себя асимметрия властных отношений между центром и республиками. Понятно, что моя теоретическая ориентация во многом была сформирована постколониальными исследованиями. Но понятно было и то, что эта теория, сформулированная для абсолютно иной историко-политической ситуации, не могла работать на советском и постсоветском материале. Даже если она исходила из всё той же базовой идеи об асимметрии властных отношений. Мой «материал» менял логику теории: традиционный для постколониальной теории интерес к разнообразным формам «теневых практик сопротивления» вытеснялся *практиками освоения* господствующих культурных форм, с помощью которых условные «угнетенные» меняли их функциональную направленность и предназначение¹.

¹ См., например, мою статью: [Ушакин 2022].

Другой пример — из области археологии медиа. Этот подход прежде всего связан с попытками уйти от нынешней гегемонии медийных форм (ориентированных преимущественно на экран как основной носитель информации) к формам организации визуального материала, которые были преждевременно забыты или отброшены. Следуя этой логике, вместе с группой коллег в течение нескольких лет я пытался понять, как можно «прочитать» сегодня иллюстрированные детские книги 1920–1930-х гг., не сводя их при этом к базовой функциональной роли рупора пропагандистской информации.

Сдвиг внимания позволил проследить новую тенденцию: раннесоветские книги оказались любопытным средством формирования того, что сегодня принято называть «трансмедиальной средой», т.е. пространством, в котором различные медийные формы активно пересекаются друг с другом. Например, детские книжки учили своих читателей, как превратить книжку в выставку плакатов, как с ее помощью и из ее материалов сделать домашний кукольный театр или «бумажный» кинофильм¹. Конкретный и вполне традиционный носитель информации — книга — оказывался катализатором разнообразных медийных трансформаций и новых формообразующих медийных практик. Идеологическое «просвещение» тесно переплеталось с воспитанием медийных навыков, которые выходили далеко за пределы политических ценностей того времени.

Я продолжаю активно следить за тем, что делается в области постколониальных исследований. Во многом они помогают мне «адаптировать» к советскому и постсоветскому материалу разнообразные версии перспективизма (Viveros de Castro; Manuel DeLanda) с их интересом к вариативности субъектных позиций и тех картин мира, которые эти позиции позволяют увидеть.

Археология медиа, в свою очередь, дает мне возможность сохранять диалог с разными версиями *нового материализма* (*New Materialisms*), а также с «онтологическими поворотами» и объектно-ориентированной онтологией, которые пересекаются, но не совпадают с новым материализмом. Все эти теории, на мой взгляд, особенно продуктивны для понимания советского прошлого, в котором связь между материальным миром и бытием (*materiality / being*) была особенно важной. Мой новый проект о роли эстетики в организации советской материальной среды 1960–1970-х гг. вырос как раз на пересечении этих теорий.

4

Наверное, мы все в процессе своей исследовательской карьеры двигаемся от прикладного использования чужих теорий к по-

¹ См.: [Oushakine 2021].

степенной артикуляции собственного подхода. Этнографически это понятно: чем больше ты исследуешь ту или иную тему, тем больше ты понимаешь, что «готовые» теории хороши лишь до определенного момента. Рано или поздно начинаешь замечать, что условный Бурдье уже не столько объясняет, сколько мешает объяснить.

С годами я понял и другое: мне не очень интересно конструировать «свою» теорию. Мне для этого не хватает последовательности и усидчивости. Каждые 5–6 лет мои интересы радикально меняются, а с ними меняются и мои теоретические установки.

Постоянным, впрочем, остается одно. Мне кажется интеллектуально полезным и политически оправданным воздерживаться от попыток объяснять «местный», «локальный» материал с помощью интеллектуального *readymade* в виде разных «универсальных» теорий. Четверть века назад я активно спорил об этом со своими коллегами по гендерным исследованиям, объясняя им, что теоретический или, точнее, терминологический импорт с Запада не решит наших эпистемологических проблем. Сам спор я тогда проиграл всухую. Хотя никакие эпистемологические (да и социальные) проблемы этот терминологический импорт так и не решил.

За четверть века многое поменялось. И мы узнали страшное слово *epistemicide*. Но я не очень уверен, что мы сделали какие-то выводы из опыта этих лет. Своей интересной версии гендерной теории в России так и не появилось, несмотря на уникальный опыт «равенства полов» при социализме.

Иными словами, в старой дискуссии о туземной и провинциальной науке я остаюсь на стороне науки туземной. Не потому, что она мне кажется лучше, больше или красивее, а потому, что она ближе к материалу, который она пытается объяснить. Она органическая часть этого материала. Теоретизирование в данном случае не требует для себя «заморской» дистанции между языком описания / анализа и предметом описания / анализа.

Проблема, естественно, в том, как не превратить эти туземные теории в «непереводимый фольклор» или, что еще хуже, в версию эпистемологического «импортозамещения». Вопрос, иными словами, о типе и природе обобщений, которые «туземные» теории позволяют сделать.

У меня нет универсального решения, но мне кажется, что старый и проверенный способ сравнительного и сопоставительного анализа был бы полезен. Скажем, мы традиционно изучаем «биографию вещи» по Аппадуре и Копытоффу, зачастую не подозревая, что сам подход был сформулирован еще

в 1920-е гг. Борисом Арватовым и Давидом Аркиным. Что произойдет, если мы совместим эти две «теории вещи»?

Или из другой области. В нынешних дискуссиях о деколонизации в советском и постсоветском контекстах трудно не видеть того, что язык этих дискуссий есть язык «переводной», заимствованный, если не протезный. Появление термина «индигенизация» в русском языке для меня стало наиболее ярким выражением ситуации прискорбного бесчувствия, выросшего из фундаментального разрыва между (предполагаемой) освободительной логикой деколонизации и ее колонизирующей языковой практикой. Другого языка для угнетенных деколонизация пока не придумала.

Пример с деколонизацией мне интересен другим. При всей своей терминологической мимикрии и концептуальной вторичности у нынешних дебатов о деколонизации есть вполне локальные исторические предшественники — дискуссии о деколонизации и антиколониализме первых постреволюционных десятилетий. В обоих случаях интеллектуалы пытались понять природу, суть и противоречия колониализма и его преодоления. Читая сейчас дебаты столетней давности, остается только удивляться уровню их историко-социологического анализа и сравнительной перспективе, практически немыслимым сегодня. Знание о прошлых дебатах могло бы придать необходимую интеллектуальную глубину и историческую укорененность дебатам сегодняшним. Однако ни прямого, ни опосредованного диалога между этими двумя интеллектуальными моментами в истории России, к сожалению, нет.

Мой тезис о пользе теорий прост: «туземные» теории хороши своим напоминанием о том, что история началась не сегодня. Проблемы, которые кажутся такими актуальными сейчас, скорее всего, уже были предметом обсуждения десятки (а то и сотни!) лет назад.

Понятно, что каждое поколение должно изобрести собственный велосипед, и я не имею ничего против такого изобретения. Но я против отверточной сборки импортированных теорий.

5

Чаще всего, мне кажется, живучесть теорий объясняется их обещанием решить сложные этнографические и исторические проблемы «легко и просто». Например, наблюдая годами за тем, что происходит в области исследований памяти в России, я не переставал удивляться промышленному производству текстов, которые уверяли читателей, что если разложить разные «памяти» по полочкам и категориям, если отделить «неправильные» и выбрать «правильную», то ситуация изменится. Эта теория «правильной» памяти стала общим местом и исходной точкой

многих исследований вопреки всем известным нам историческим свидетельствам о посттравматических сообществах.

Наверное, живучесть этой и подобных ей теорий объясняется не только их интеллектуальной незамысловатостью, но еще и тем, что теория — это не только набор аргументов и способов интерпретации. Теория — это еще и социальное действие, форма жизнестроения и мифотворчества. Скажем, если убрать из теории этноса харизму Гумилева и институциональные ресурсы Бромлея, то что останется на этой «трубе», кроме набора экзотических терминов?

Разумеется, источник живучести некоторых теорий можно искать и в постоянстве проблем, которые эти теории оказываются не в состоянии объяснить. Хорошим примером являются теории травмы. При всем их разнообразии, их объясняющий эффект недостаточен. Что, в свою очередь, порождает новые поиски более удачных средств объяснения и интерпретации. Составляя вместе с Еленой Трубиной большой сборник «Травма: пункты» (2009), я надеялся тогда, что он спровоцирует поток «туземных» теорий травмы, способных отчетливо отразить местные особенности опыта утрат, потерь и страданий. Я, конечно, заблуждался. Теория посттравматического расстройства и связанная с ней индустрия терапии оказались сильнее: все местные вариации были быстро приведены к одному (теоретическому) знаменателю. Хотя я не теряю надежды: многообразие исторических и современных травм в России не может не отразиться в не менее разнообразных формах их понимания и описания.

И последнее: живучесть теорий, мне кажется, нередко отражает еще и нашу (антропологическую?) потребность в общности, которую нельзя свести к тому или иному базису, будь то национальность, класс или пол. Теория также позволяет выстраивать связи поверх барьеров, созданных пространством, временем и политикой. Теория дает возможность видеть и сопереживать — издалека и на расстоянии. Ведь неслучайно «теория» и «театр» растут из одного корня.

Библиография

- Ушакин С. Обличья обезличивания: портреты без лица и Минская школа постколониальной фотографии // Антропологии / Anthropologies. 2022. № 1. С. 77–135. doi: 10.33876/2782-3423/2022-1/77-135.
- Oushakine S. (ed.). Transmediating Children's Books: An Archeology of Discarded Futures: A special cluster of essays // The Russian Review. 2021. Vol. 80. No. 3. P. 359–455.

ДМИТРИЙ ФУНК

В своих размышлениях в обозначенной авторами дискуссии рамке я буду исходить из понимания теории как «правдоподобного или научно приемлемого общего принципа или совокупности принципов, предлагаемых для объяснения явлений» (это первое значение термина, предлагаемое словарем “Merriam Webster”) и при этом считать явлениями не вообще все сущее, а любой (конкретный) феномен.

1

Современная социокультурная¹ антропология тем и хороша, что она, на мой взгляд, позволяет смотреть на мир широко открытыми глазами, т.е. обнаруживать / видеть в нем любые феномены, так или иначе характеризующие бытие человека и того мира, в котором он живет и который создает или трансформирует, порой разрушая. С этим связана и широчайшая палитра «антропологий», в которой есть место не только экономической, политической, медицинской, но и городской, прикладной, общественной (public), визуальной, юридической, судебной (forensic), индигенной, психологической, философской антропологии, антропологии детства, гендера, образования, миграций, религии, фольклора, перформанса, экстрактивизма, корпораций, наследия, туризма, неопределенности, времени и темпоральности, и даже таким «частным» антропологиям, как, например, антропология драгоценных камней, смеха, страха, проституции, моды, спорта, цвета или, скажем, войны, смерти и даже космоса. Список можно продолжить, в том числе за счет «антропологий», продолжающих существовать под вывесками с приставкой «этно», и региональных

Дмитрий Анатольевич Функ

Московский государственный
лингвистический университет,
Москва, Россия
d_funk@iea.ras.ru

¹ Я использую этот термин начиная с того момента, когда впервые, еще десятилетие тому назад, обнаружил его в главном антропологическом журнале Американской антропологической ассоциации “American Anthropologist”. При том что для американской традиции, как мы долгое время считали и даже учили этому наших студентов, речь «должна» была бы идти о «культурной антропологии», использование термина *sociocultural anthropology* в названном журнале показалось мне значимым событием как для американской антропологической традиции, так и для современной антропологии в целом.

антропологий, но и названных выше, полагаю, вполне достаточно, чтобы отрицательно ответить на вопрос об общей «большой теории». При всей их очевидной связи с человеком и его деятельностью, с самим фактом его существования и наличия у него мыслительной функции единая теория тут вряд ли возможна и, более того, вряд ли уместна.

Процесс дробления антропологии на множество субдисциплин, зачастую претендующих на роль самостоятельных областей науки, начался довольно давно. Кто-то, например Эрик Вулф [Wolf 1980], пишет об этом как о вызывающем опасения процессе. Я же не вижу в этом ничего плохого. Во всяком случае до тех пор, пока все эти «суб» сохраняют нацеленность на лучшее понимание человека и его окружения и основывают это понимание на эмпирике «поля». И даже смена оптики, явленная в онтологическом повороте в антропологии, и все большее число работ в области многовидовой этнографии (*multi-species ethnography*) не ставят под сомнение это убеждение. Мы шаг за шагом углубляем наше видение мира в его сложности, динамике и взаимосвязи всех процессов, в том числе тех взаимосвязей и процессов, которые раньше было трудно разглядеть.

2

Что касается движения «от теории к описанию», то в моем видении процесса рождения теорий исходный материал и его анализ всегда идут первым номером. Если же иначе, то это, полагаю, не теория, а скорее рабочая гипотеза, которая будет требовать проверки и подтверждения (или опровержения), иначе говоря, «описания» (исходного материала). Безусловно, все гораздо сложнее, поскольку «материал» сам по себе еще не есть панацея ото всех антропологических бед. Как сказал мой старший коллега Михаэль Казимир, «история этнографии есть история бессистемного сбора никому не нужных материалов» (из беседы в Кельне в 1998 г.). Я часто с тех пор повторяю эту печальную мысль в своих лекциях студентам в попытке объяснить им бессмысленность просто «сбора материалов» в поле. Если ты не знаешь, как их собирать (современная методика поля до сих так и не преподается на профильных кафедрах, а классические учебники, в частности фундаментальный учебник Расселла Бернарда [Bernard 2011], так до сих и не переведены на русский язык) и, главное, для чего, то получится ровно то (и тут позволю себе еще одно воспоминание), о чем мне когда-то рассказал мой учитель Л.П. Потапов. Приехав на каникулы домой, Потапов привез в подарок своему первому учителю А.В. Анохину (1869–1931), великолепному этнографу, специалисту по культурам тюрков Саяно-Алтая, изданную в переводе на русский язык книгу, не помню уже сейчас, то ли Моргана, то ли Тайлора. Пролистав ее, Анохин, как вспоминал Леонид

Павлович, заплакал от осознания того, как же много он мог спросить у людей, если бы знал, что об этом тоже можно спрашивать. К такого рода «открытиям» добавляется зачастую неумение формулировать исходную проблему (гипотезу) перед поездкой в поле, а она вряд ли может быть толково сформулирована, если ты не знаешь литературу.

Движение «от теории», пожалуй, можно усмотреть в том, что формально (лишь формально) походит на то, что известно многим коллегам старшего поколения, использовавшим в советское время в своих текстах ритуальные фразы с отсылками к классикам марксизма-ленинизма. Значительное число современных социально-антропологических исследований начинается с описания теоретической рамки, в которой они будут строить свою работу, неважно, кто это будет, Мосс, Леви-Строс, Гирц, Барт, Латур, Бурдьё, Фуко, Ингольд, Гваттари или кто-то еще. Для начинающих свой путь в науке это разумная стратегия построения исследования. Есть некий теоретический посыл, и есть некое конкретное (твое) поле, которое позволяет что-то внести в соответствующий, в рамках заданной теории дискурс. Это, помимо прочего, еще и полезно, поскольку именно так и проверяется правомерность той или иной теоретической мысли. Впрочем, к использованию лишь одной объяснительной модели я вернусь чуть далее.

3

Если кратко, то я бы сказал, что во всех и каждый год. Убедиться в этом довольно просто, если регулярно читать ведущие антропологические журналы, равно как и новые книги. До недавнего времени задача знакомства с наиболее значимыми достижениями предыдущего года упрощалась благодаря обзорам в рубрике “Year in review”, регулярно появлявшимся в журнале “American Anthropologist”. Сейчас эта рубрика тоже иногда встречается, хотя и перестала быть регулярной, равно как и охватывать разные направления антропологии в одной подборке. Из самых недавних могу назвать обзоры по социальной антропологии (тематически, правда, весьма узкий) и археологии, опубликованные в 4-м номере этого журнала за 2022 г., и вновь по археологии — в 1-м номере 2024 г. Можно отслеживать новые тренды и на основе публикаций в ежегоднике “Annual Review of Anthropology”, в котором обязательно есть несколько текстов в рубрике “Sociocultural Anthropology”, а также статей в великолепном журнале “HAU. Journal of Ethnographic Theory”. Попутно замечу, что все три названных мною журнала есть в открытом доступе. Из российских журналов вполне отвечают решению данной задачи «Этнографическое обозрение», «Сибирские исторические исследования», «Антропологический форум», за публикациями в которых также есть смысл внимательно следить.

Из того, что мне особо близко, чрезвычайно значимой в плане более глубокого понимания мира мне кажется теоретическая рамка, заданная Каем Архемом [Arhem 1996] и Эдуарду Вивейрушем де Кастру [Viveiros de Castro 2012] и развитая в «антропологию по ту сторону человека» Эдуардо Коном [Kohn 2013]. Близко в том числе и потому, что мой материал всегда упорно подталкивал к тому, чтобы видеть в нем не только отношения людей с людьми, считывать лишь их мысли и трактовать лишь их действия. Первый раз более или менее связно я попытался изложить свои наблюдения за поведением духов в ситуации одного из ресурсных конфликтов в докладе о «четвертом стейкхолдере» на конференции в Уппсале в 2016 г. Именно тогда я познакомился с Николасом, сыном Кая Архема, который рассказал мне о публикациях своего отца, послуживших своего рода источником вдохновения для работ Вивейруша де Кастру, впрочем и для самого Николаса тоже: он автор прекрасной работы «В священном лесу» о ландшафте, образе жизни и вере в духов у кату Вьетнама [Arhem 2009]. Выход за рамки некогда нами же самими очерченных границ познания (я имею в виду идею онтологического единообразия мира) действительно представляется весьма перспективным.

4

Сложный вопрос. Сложный, потому что как раньше, так и сейчас мне интересны разные темы. В конце 1990-х — начале 2010-х гг. это были почти исключительно северные / сибирские сюжеты, в первую очередь трансформации локальных культур и этническая идентичность, позже прикладная антропология с особым интересом к феномену экстрактивизма в целом, религиозный ландшафт в моноэтничном алтайском социуме, восприятие мигрантов принимающим сообществом западно-европейских столиц и — на всем протяжении моей работы — анализ шаманских и эпических традиций южносибирских тюрков с использованием того подхода, который мне самому никак не удавалось определить (во всяком случае на момент защиты докторской диссертации), но который мой коллега Б.А. Фролов назвал «живой этнологией». Мне кажется это симптоматичным и, так сказать, правильным: не исследователь сам неким образом позиционирует себя и свой метод, а коллеги, порой делая это здесь и сейчас, а порой, и даже чаще, после того, как исследователя уже не стало.

Есть еще одна мысль, которую мне хотелось бы проговорить при рассуждении об использовании тех или иных чужих теорий или же о создании собственных. Я пишу эту реплику в то время, когда в издательстве идет редакторская работа над моей новой книгой «Антропология героического эпоса». Помимо своего подхода, обозначенного выше как живая этнология, практически в каждой главе так или иначе приходилось обращаться

(обсуждая их) к современным теоретическим концептам при анализе таких феноменов, как традиция, память, нормы, запреты и исключения из правил, письменное и устное в культуре, code switching, баланс эмического и этического подходов, этика поля, и не только. Не только, поскольку есть еще список «локальных» теорий и гипотез, которые затрагивались и порой опровергались: это и якобы трехчленная структура вселенной с ее верхним, средним и нижним мирами, и трактовка каменных антропоморфных стел, известных во всем евразийском поясе, как изображений поверженных врагов, и др. Использование некой одной объяснительной модели (теории) сразу для всего мне трудно себе представить. Разве что речь идет о каком-то совсем узком конкретном кейсе, да и то вряд ли это возможно, если видеть динамику (что является нормой для любых феноменов, к которым причастен человек) за сколь угодно частным фактом или предметом.

5

Живучесть теорий в значительной мере, как мне кажется, определяется интересом к материалу, на котором они построены и/или могут быть перепроверены. Кажется, уже никто не пытается оспорить более полувека тому назад пришедшее в антропологию из лингвистики (Кеннет Ли Пайк) деление видимого и слышимого нами в поле на *эмик* и *этик*. Эта оппозиция прекрасно работает, вновь и вновь помогая нам адекватно (насколько это вообще возможно) описывать тот мир, в котором живем мы и те, чьи культуры мы пытаемся понять. Нечто сходное, на мой взгляд, можно видеть и в антропологии неопределенности, в которой, несмотря на массу интересных, в том числе теоретически насыщенных, публикаций, изданных в последние три десятилетия, все авторы так или иначе следуют в русле идей Германа Кана [Kahn 1962], первым предложившего сместить взгляд в рассуждениях о будущем с поиска того, как узнать будущее, к тому, как думать о нем, и первым же разработавшего методологию сценарного планирования. Иначе живет теория Милмэна Пэрри и Альберта Лорда [Lord 2000] (первое издание вышло в 1960 г.) об устном происхождении гомеровского эпоса, построенная на анализе огромного по объему материала о живой эпической традиции в Югославии. Обращение антропологов [Goody 2000] к феноменам устного и письменного в культуре позволило если не окончательно опровергнуть, то серьезно оспорить этот казавшийся незыблемым вывод. Из относительно недавних и весьма влиятельных я бы отметил концепцию авторизованного дискурса наследия (АДН) Лораджейн Смит, впрочем, недавние работы, в частности Миндже Зо [Zoh 2020], показывают, насколько АДН может меняться, если мы имеем дело с наследием, например, в условиях диктатуры.

В обращении все новых и новых исследователей, казалось бы, к одним и тем же социальным группам или неким проявлениям их культуры мне видится залог развития научной мысли. Еще не так давно, когда я лишь пришел работать в Институт этнологии и антропологии РАН (это было в 1993 г.), нормой было удивление коллег, не понимавших, как это так и, главное, зачем мы вдвоем, Елена Петровна Батьянова и я, занимаемся «одним и тем же народом»? Но и тогда, и сейчас мы смотрели на телеутскую культуру разными глазами и потому часто видели в ней те стороны, мимо которых проходил один из нас, или же видели нечто, казалось бы одно и то же, совершенно по-разному.

Применительно к отечественному антропологическому / этнологическому / этнографическому теоретическому ландшафту последних пяти десятилетий я бы отметил (в плане оценки «живучести» теорий) административный ресурс авторов этих теорий. Впрочем, множественное число здесь вряд ли уместно. Пресловутую «теорию этноса» в том виде, в котором многие ее знают, сформулировал один директор Института этнографии, не имевший профильного антропологического (выражаясь современным языком) образования, а ее критику, без предложения нового теоретического концепта, осуществил другой, но тоже без соответствующего образования. Безусловно, факт наличия или отсутствия профильной вузовской подготовки определяет не всё, и речь по большому счету даже не о конкретных людях, занимавших директорские посты. Важен сам факт наличия административного ресурса, который — в условиях привычки и готовности части социума следовать заданному свыше курсу — играет значимую роль в принятии или непринятии неких порой далеких от доказательности текстов, концепций, теорий.

Завершая свои размышления над вопросами, предложенными редакцией «Антропологического форума», я бы хотел обратить внимание еще на два момента. Во-первых, на необходимость перестройки вузовского образования по антропологии («антропологии и этнологии»). Именно в вузовские годы надо формировать ту базу, которая позволит выпускникам не просто ориентироваться в современных трендах мировой антропологии, но и хотеть (и уметь) самим быть творцами, а не просто «собираателями» некоего первичного материала. Для этого как минимум нужны преподаватели, свободно ориентирующиеся в современной антропологической литературе, и (при безусловной важности владения учащимися иностранными языками и ежедневном чтении хотя бы нескольких сотен страниц антропологических работ) активное формирование корпуса переводной литературы, хотя бы монографий, которые можно читать по-русски.

А во-вторых, я хочу особо сказать о кажущемся (именно кажущемся!) делении сообщества антропологов на «теоретиков» и тех, кто использует чьи-то теории. Это совершенно не так, но тут снова приходится говорить о пробелах в нашей вузовской антропологической подготовке. Мы почему-то совсем не обращаем внимания на тот инструмент (метод) для построения собственных теорий, который вот уже более полувека используется в науке, в том числе в антропологии, под названием *grounded theory* [Glaser, Strauss 1967]. Не будучи связанным с предшествующими теориями, исследователь при использовании *grounded theory* получает свободу в генерировании новых концепций, часто оказывающихся довольно свежими и позволяющих приходиться к новым открытиям. Безусловно, этот метод не является панацеей, пригодной для решения любых задач и на любом материале, и у него тоже есть свои ограничения, но я хотел обратить на него внимание (как на возможный пример), чтобы сказать, что у каждого из нас есть возможность генерировать в процессе исследования собственную теорию.

Библиография

- Arhem K. The Cosmic Food Web: Human-Nature Relatedness in the Northwest Amazon // Descola P., Palsson G. (eds.). *Nature and Society: Anthropological Perspectives*. London: Routledge, 1996. P. 185–204.
- Arhem N. In the Sacred Forest: Landscape, Livelihood and Spirit Beliefs among the Katu of Vietnam. Göteborg: Göteborg University, 2009. X+206 p. (SANS, Papers in Social Anthropology).
- Bernard R.H. *Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches*. 5th ed. Plymouth: AltaMira Press, 2011. XIII+666 p.
- Glaser B., Strauss A. *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. Chicago, IL: Aldine, 1967. X+271 p.
- Goody J. *The Power of the Written Tradition*. Washington, D.C.; London: Smithsonian Institution Press, 2000. VIII+192 p.
- Kahn H. *Thinking about the Unthinkable*. New York: Horizon Press, 1962. 254 p.
- Kohn E. *How Forests Think: Toward an Anthropology beyond the Human*. Los Angeles, CA: University of California Press, 2013. XIII+267 p.
- Lord A.B. *The Singer of Tales*. 2nd ed. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000. XXXVII+307 p.
- Viveiros de Castro E. *Cosmological Perspectivism in Amazonia and Elsewhere: Four lectures given in the Department of Social Anthropology, Cambridge University, February-March 1998*. Manchester: University of Manchester, 2012. 168 p. (HAU Masterclass Series. Vol. 1)
- Wolf E. They Divide and Subdivide, And Call It Anthropology // *The New York Times*. 1980, Nov. 30. Section T.
- Zoh M. *The Impacts of Dictatorship on Heritage Management*. Wilmington, DE: Vernon Press, 2020. XX+226 p. (Series in World History).

ОЛЬГА ХРИСТОФОРОВА

1

С одной стороны, близкие идеи есть у некоторых коллег (правда, насколько я знаю, их очень мало) — попытаться применить к предмету антропологии / этнографии и фольклористики (структурам родства, фольклорным жанрам, механизмам трансмиссии сюжетов и мотивов и т.п.) законы естественных наук (например, увидеть в них свойства фракталов) и даже, может быть, когда-нибудь включить и эти объекты в (пока еще) физико-математическую гипотетическую «теорию всего». Чтобы не быть голословной, упомяну синергетическую фольклористику. Однако подобные идеи скорее маргинальны. Известно также, что попытки увидеть в социальной жизни законы, подобные законам естественным, были и раньше, в частности у А.Р. Рэдклифф-Брауна, а вот его ученик Э.Э. Эванс-Причард уже в 1930-е гг. развернул «корабль антропологии» от поиска законов к постижению смыслов. Наверное, нескоро мы придем к слиянию социогуманитарных наук с физикой и математикой.

Впрочем, воспоминания об «общей большой теории», о «едином учении», которое «все-сильно, потому что оно верно», заставляют вздрогнуть. Хочется сказать вслед за сэром Джеймсом Фрэзером (который, правда, выразился так по другому поводу): «Боже упаси».

Но давайте разберемся, что мы понимаем под теорией. Определений этого термина много. В нашем случае под теорией может пониматься, во-первых, научная парадигма — совокупность фундаментальных установок, идей и понятий, принимаемая и разделяемая научным сообществом, объединяющая его членов на определенных мировоззренческих, методологических, этических основаниях (теория-1). Во-вторых, теорией может называться набор исследовательских инструментов или даже один инструмент (теория-2). В этом случае как синоним также употребляется термин «концепция».

Ольга Борисовна Христофорова
 Российский государственный
 гуманитарный университет /
 Российская академия
 народного хозяйства
 и государственной службы,
 Москва, Россия
 okhrist@yandex.ru

Понятно, что теория-2 не может быть «общей», потому что инструменты подбираются под конкретную задачу, а также могут «обтачиваться» или даже создаваться заново специально для нее. Теория-1 может быть условно общей, но это все же скорее не теория, а именно парадигма — мировоззренческая «шапка» для совокупности близких концепций-теорий-2, скорее общий подход, чем инструмент. Например, эволюционизм (включая свою неоверсию) объединял такие разные вещи, как «теория пережитков» Эдварда Тайлора и концепция «технологической эволюции» Лесли Уайта. Структурный функционализм даже его отцы-основатели не считали единой теорией, а уже упомянутый Рэдклифф-Браун не принимал концепцию «функций» Малиновского. Структурно-семиотический подход вообще объединяет такие разные имена и школы, как Фердинанд де Соссюр и Чарльз Пирс, Джон Остин и Роман Jakobson, Владимир Пропп и Клод Леви-Строс, Юрий Лотман и Вячеслав Иванов, пражский лингвистический кружок и парижская лаборатория социальной антропологии, тартуско-московская семиотическая и московская этнолингвистическая школы, и такие вещи, как типология знаков, морфология сказки, бинарные оппозиции, теория речевых актов, структурная паремиология Григория Пермякова и анализ ритуальных символов Виктора Тэрнера, понятие культуры как текста у Клиффорда Гирца и семиотические идеологии Вебба Кина. Даже постструктурализм не вполне вышел из-под этой «шапки» — вспомним построения Дескола и де Кастро или пирсовскую семиотику как инструмент у Эдуарда Кона, вроде бы числящегося по разряду постгуманизма. Итак, если считать «общей большой теорией» научную парадигму, то такое бывает, но она не может быть единой для всей (даже отечественной) антропологии / фольклористики; скорее, может объединять *часть* антропологов и *часть* фольклористов с единомышленниками из других научных цехов, как это, например, происходило (и происходит) со структурно-семиотическим подходом. Вообще цеховая принадлежность не предполагает теоретическую согласованность, общность парадигмы. К примеру, советские фольклористы не были «единым полем» — для одних объектом был Volk, для других — текст; кто-то искал эстетические функции «языка фольклора», а кто-то изучал структуру жилища или шаманского камлания.

А был ли марксизм в СССР действительно рабочей «большой теорией» / парадигмой? Или был ею в каких-то случаях лишь номинально, лишь на уровне ритуальных фраз? Вопрос, кажется, риторический.

2

Действительно, в последней трети XX в. в социогуманитарных науках случился очередной, пожалуй, наиболее сильный кризис

позитивизма. Эта эпоха стала временем отказа от «больших теорий» и универалистских объяснительных схем. Выявление сходств культур уступило место в антропологических и фольклористических работах поиску в них различий, приоритет был отдан уникальным интерпретациям и «локальному знанию», особое внимание стало уделяться методологии, собственным пресуппозициям и рефлексии над исследовательской оптикой. Эта эпоха очищения от «идеологических шор» и апологии «новой этнографии» в конце прошлого столетия затронула и отечественное гуманитарное знание. Выход из-под цензуры, отказ от устоявшихся подходов и привычных объяснительных моделей стал плодородной почвой для появления свежих тем и ракурсов исследования, открывающих реальность с нетривиальных сторон. Вместе с тем в этом «животворящем хаосе» со временем начали формироваться новые траектории и русла, ставшие особо привлекательными для членов академического сообщества, а некоторые из этих русел оказались бывшими старицами. Уже в 2010-е гг. в отечественной этнологии / антропологии стал заметен возврат от «постмодернизма» как критического движения к «модернизму» как каталогизации и универсализации на новом уровне, очевиден был отказ от отказа от «больших теорий»: сохранил свою значимость неозоволюционизм (хотя его сторонники и в 1990–2000-е гг. от него не отказывались); еще и сейчас можно встретить термин «бриколаж» и «выявление бинарных оппозиций» в тех или иных «текстах культуры» (кажется, три десятилетия для кого-то прошли незаметно, можно только позавидовать); новые позиции в борьбе с конструктивизмом отвоевал примордиализм (тут, впрочем, велика роль вненаучных факторов). И да, об этих факторах: кажется, их влияние на научные теории и методы (даже на само их существование) в последние годы увеличивается и в ближайшее время может значительно усилиться.

И вот что еще важно. В последние лет 10–15 заметна такая тенденция — от исследователей, особенно молодых, академическое сообщество требует неперменной «концептуализации», но это разумное требование (показать текущий научный «разговор» и свое место в нем, продемонстрировать, как ты применяешь существующие идеи и «инструменты» к своему материалу, как они помогают его анализировать и как сам этот анализ изменяет «инструменты» и влияет на научный дискурс) нередко превращается в простое обозначение тех или иных теорий, ритуальную демонстрацию, карго-культ. И упоминаются в таких случаях наиболее расхожие или «модные» в данный момент теории, так что последние на свою беду превращаются из полезных тропинок, по которым исследователь идет, изучая окружающий ландшафт, в наезженные колеи, когда уже

и не видно никакого ландшафта. Лучше тогда ограничиться описанием того или иного типа без претензий на «концептуализацию». Впрочем, это больше касается социальных исследователей, историки и фольклористы (впрочем, и некоторые этнологи) по-прежнему предпочитают описание.

3

Пожалуй, много свежих идей и способов мысли в антропологии религии, в исследованиях постколониальности и наследия (Postcolonial & Heritage studies). Хотя, как мне кажется, лучше говорить не о субдисциплинах, а о подходах, потому что акторно-сетевая теория, когнитивистика, цифровая антропология, постгуманизм и межвидовая антропология, интерес к локальным эпистемическим системам — это не о субдисциплинах, а об оптике, которая может быть с успехом применена и в антропологии религии, и в медицинской, экономической и других «отсеках» антропологии. Не потеряли своего значения и идеи процессуальности и локальности в противовес статичным моделям и глобальным схемам; семиотические, марксистские и феминистские идеи. По-прежнему важны установка на преодоление субъект-объектных отношений, критика объективации и натурализации, поиски новых форм академического письма. Все так же, говоря о культурных явлениях, «взамен четких форм мы имеем дело с множественными конкурирующими дискурсами», как писал Тим Ингольд в дискуссии двадцатилетней давности в «АФ» № 1 [Форум 2004: 55].

4

У меня была смешная история с концептуализацией моих исследований веры в колдовство. С 1999 г. я проводила полевые исследования среди старообрядцев-беспоповцев верховьев Камы и сначала просто фиксировала рассказы о колдунах и колдовстве, выявляла их мотивы и составляла указатель, как это было принято в фольклористике тех лет. По мере погружения в локальную традицию я увидела интересные связи между мифологическими рассказами и социальными отношениями и стала их осмысливать (даже успела сделать доклад¹, где частично эти мысли высказала). Мне стало понятно, что рассказы о колдовстве — это способ структурировать социальное пространство, рассказать об отношениях с родственниками, соседями и проговорить травматический опыт. Я уже стала конструировать свою теорию, но тут РГГУ, где я в тот момент была в докторантуре, предоставил мне зарубежную стажировку, и я выбрала Лондон, Королевский антропологический институт Великобритании и Ирландии. Надо, наверное,

¹ «Интерпретация социального дискурса: от “социальной механики” к “культурной семантике”» (Международная конференция «Исследования по народной религиозности: современное состояние и перспективы развития», Санкт-Петербург, Европейский университет, 26–28 сентября 2002 г.). Этот доклад лег в основу статьи: [Христофорова 2006].

напомнить, что в том далеком уже 2004 г. доступа к зарубежной научной литературе, особенно свежей, практически не было, ни в бумажном, ни в электронном виде. Поэтому, когда я оказалась в Британской библиотеке, передо мной как будто открылась пещера с сокровищами. Я запоем читала работы британских антропологов-африканистов и развивавших их идеи историков, исследования по крестьянским сообществам в Мексике, Греции, Португалии, Франции и т.д. Идеи, сформировавшиеся у меня в российском поле, оказывается, уже приходили в голову тем, кто работал в центральноафриканских и мексиканских, греческих и португальских деревнях. Так счастливая случайность предостерегла меня от «изобретения велосипеда», и в итоге я просто продемонстрировала в книге о колдовстве [Христофорова 2010], какие «велосипеды» существуют в Witchcraft Studies и какова их «операциональность», в том числе по отношению к изучаемой мною локальной традиции, хотя также предложила и свою «модификацию», в которой соотнесла масштаб социальных связей и типы жанров несказочной прозы¹.

Другие мои работы написаны в рамках иных подходов — семиотики и теории коммуникации, концепции транс / одержимости Э. Бургиньон, схемы символического лечения С. Хелмана и А. Клейнмана и т.д. Разумеется, во всех этих случаях применяемые подходы и концепции модифицировались (с соответствующими оговорками), приспосабливались под решение конкретных задач и с учетом локального поля.

5

Здесь имеет значение ряд факторов. Во-первых, на «живучесть» влияет авторитетность теории и ее создателей и/или представителей, авторитет научной школы или даже государства, где она возникла. (Так, структурный функционализм был в антропологическом мейнстриме не только в Великобритании, но и в континентальной Европе, пожалуй, до 1980-х, хотя и считался уже морально устаревшим по сравнению со свежими теориями американской культурной антропологии. А эволюционизм марксистско-ленинского толка был в фаворе в странах социалистического блока.) Во-вторых, важна преемственность: по умолчанию, если не случается научных революций (по Т. Куну), учителя будут передавать ученикам то, чему их самих некогда научили (поэтому эволюционизм — ну хорошо, неоэволюционизм — сохраняется в отечественной этнологии / антропологии, причем не только на старых кафедрах, но и в относительно новых центрах, где преподают профессора, выучившиеся на старых кафедрах). Велика роль своего рода импринтинга — то, что мы узнали и полюбили в свои чувствительные

¹ В статье [Христофорова 2009], легшей в основу одной из глав вышеупомянутой книги.

юные годы, остается с нами навсегда (для меня такими важными установками стал структурно-семиотический подход, в частности идеи Е.С. Новик, а также символическая антропология В. Тэрнера, М. Дуглас и К. Гирца). В-третьих, важно соответствие общественно-политическим запросам, отклик (иногда вынужденный) на идеологическую повестку и/или попадание в «больные места»: вспомним опять же обязательный марксизм-ленинизм в советской этнографии или более позднюю (и оппозиционную) моду на марксизм в англоязычной антропологии. Феминизм, антропология травмы и инклюзии сохраняют свою актуальность по этой причине. Быстрое исчезновение теорий также может быть связано с несколькими факторами. Так, в последние десятилетия антропология пережила несколько «поворотов» — онтологический, перформативный, исторический, феноменологический, материальный, эмоциональный и др. (а фольклористика также прагматический и антропологический). Некоторые повороты мы проскочили так быстро, что не успели сформироваться научные школы и не возник импринтинг и/или не существовало для «модных увлечений» достаточно мощного (т.е. обеспечивающего финансирование) общественного запроса. Также на исчезновение теорий (или на их непоявление на некой территории) может прямо влиять государственная политика, запреты и репрессии.

Немного утешает, во-первых, то, что наука не может быть национальной, а во-вторых, что никакие научные теории (парадигмы и концепции) не исчезают полностью, как показал Томас Кун, и вполне могут возродиться (на благо или нет) в будущем, когда для этого возникнут подходящие условия, внутренние и внешние.

Библиография

- Форум: Современные тенденции в антропологических исследованиях // Антропологический форум. 2004. № 1. С. 6–101.
- Христофорова О.Б. Несказочная проза и символическая стратификация социального пространства // Вестник РГГУ. Сер.: Филологические науки. Литературоведение и фольклористика. 2009. № 9. С. 138–158.
- Христофорова О.Б. Символическая интерпретация социального дискурса (рассказы о деревенских колдунах) // Кормина Ж.В., Панченко А.А., Штырков С.А. (ред.). Сны Богородицы: исследования по антропологии религии. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2006. С. 184–202.
- Христофорова О.Б. Колдуны и жертвы: антропология колдовства в современной России. М.: РГГУ; ОГИ, 2010. 432 с. (Нация и культура / Антропология / Фольклор: новые исследования).

АЛЕКСЕЙ ЩАВЕЛЕВ

Сверхкраткая апология «большой теории»

В последней четверти XX — первой четверти XXI в. произошла масштабная эпистемическая интервенция [Вахштайн 2012: 48–49] методов, вопросов, концептов и терминов культурной, социальной, экономической и политической антропологии в поле исторических исследований архаичных (древних и средневековых или постнеолитических и домодерных) обществ [Крадин 2016; 2021]. Фактически одновременно произошла эпистемологическая и терминологическая гибридизация экономики, социологии и истории эпохи Модерна, т.е. Нового и Новейшего времени [Дерлугьян 2013]. В результате современные теоретические основы изучения обществ древности и Средневековья сформировали ориентированные на историческую проблематику антропологи (Х. Классен, П. Скальник, Т. Эрл, Р. Карнейро и др.), антропологически мыслящие историки и археологи (К. Модзелевский, К. Ренфрю, Б. Триггер, К. Кристиансен, Ф. Курта, Д. Смолл, М. Хансен, Н.Н. Крадин, Д.М. Бондаренко и др.), а также социологи и экономисты, в том или ином виде и качестве занявшиеся историей (Б. Андерсон, И. Валлерстайн, Ч. Тилли, Э. Хобсбаум, М. Манн, Н. Фергюсон, В.В. Волков, Г.М. Дерлугьян и др.). Эта эпистемическая конвергенция теоретического инструментария антропологии и истории была облегчена тем, что фактически у антропологов (социологов) и историков всегда был один и тот же объект исследования — «индивид и общество в настоящем и прошлом», о чем писал еще Э. Эванс-Причард: «То обстоятельство, что антрополог изучает общество непосредственно, а историк — по документам, представляется мне не методологическим, а сугубо техническим» [Эванс-Причард 2003: 285].

Все исследования этой новой большой теории объединяют следующие ориентиры: опора на аналитические концептуально-

терминологические системы для описания и анализа обществ прошлого и настоящего; использование компаративных методов, как классических сравнительно-исторических, так и кросс-культурных; неозволюционистский подход, т.е. особое внимание на факторы (влияние и вызовы окружающей среды, внутреннее изменение социокультурных паттернов и психологии индивидов, коммуникация и конкуренция с другими сообществами и др.) и процессы трансформации (прогресс, стагнация, деградация и революция) обществ. Эту «большую теорию» наук о человеке XXI столетия можно назвать *неозволюционистская компаративно-историческая социокультурная антропология* (ср.: [Shennan 2002; Гринин, Марков, Коротаев 2008; Месуди 2019]).

Сейчас в современной теоретической мысли можно обозначить два полюса, к которым тяготеют разные авторы в зависимости от их личных когнитивных стилей или текущей в период их жизни эпистемологической моды. На это независимо друг от друга обратили внимание три археолога, сделавшие большой вклад в исторические исследования и социокультурную антропологию: Л.С. Клейн [Клейн 2001], Б. Триггер [Trigger 2003] и К. Кристиансен [Kristiansen 2014; 2018]. Б. Триггер называет эти полюса «рационализм и релятивизм» [Trigger 2003: 3–14], К. Кристиансен — «эволюционизм и культурная история» [Kristiansen 2018: 2, 17–18]. А Л.С. Клейн, опираясь на ряд предшествующих разработок, предложил несколько бинарных оппозиций эпистемологических принципов, которые характеризуют разницу подходов, но на самом деле являются взаимно дополнительными: детерминизм и индетерминизм социокультурных процессов, универсализм и партикуляризм культур и обществ, актуализм и историзм при сравнении обществ прошлого и настоящего, системность моделей культуры и общественных отношений и нерегулярность социокультурных процессов. В результате формулируется фундаментальная теоретическая антиномия: одни исследователи считают, что информации обычно достаточно для описания, реконструкции и построения моделей того или иного фрагмента истории человечества или отдельного сообщества, другие, напротив, что у нас всегда будет существовать дефицит информации, блокирующий возможности для выхода за пределы частных эмпирических наблюдений и дескрипции дискретных феноменов или их совокупностей [Клейн 2001: 41–48].

1

Фактически теории разного уровня существуют всегда и везде, без них научный дискурс просто не существует [Касавин 2006]. Как известно, эпистемология выполняет три основные задачи: формирует список вопросов (проблематизаций) к имеющимся данным, формулирует эпистемологические запреты, задавая

рамку интерпретации, осмысляет социальные условия познания и, наконец, вырабатывает концептуально-терминологический аппарат. На мой взгляд, приоритетная цель теоретизирования — как раз создавать метаязык описания «второй природы» и существующих в ней человеческих сообществ, который будет принят научным сообществом. Ведь любой исследователь всегда так или иначе, эксплицитно или имплицитно использует какую-то «большую теорию» как минимум в виде набора терминов, которые являются генерализациями (обобщениями) предшествующего исторического опыта и практик его изучения. Если исследователь декларирует отказ от использования некой «новомодной» теории и ее терминологического лексикона или в принципе отрицает теорию как таковую, это просто означает, что он волей-неволей говорит на устаревшем языке, созданном адептами старых парадигм. При этом эти «старые добрые» теории и рамочные гипотезы обычно создавались в условиях более сильной, чем сейчас, идеологизации научных исследований, критически меньшего объема фактических данных и объективно худших условий научной коммуникации. И следовательно, эти теории заведомо менее релевантны актуальным задачам гуманитарной науки, чем современные.

Повторю, что фактически «большая теория» наук о человеке и его культуре сейчас существует в виде общего метаязыка, логических допущений и эпистемологических запретов *эволюционной социокультурной компаративной исторической антропологии*. Как всякое порождение эволюционного процесса современная «большая теория» антропологии в широком смысле как совокупности наук о человеке несовершенна и включает в себя как явно анахронистические элементы (зомби-концепты), так и новейшие достижения разных направлений научного знания. Эволюция этой «большой теории» будет продолжаться в XXI в., и она уже не может быть отменена или изменена по желанию сколь угодно влиятельного в научной среде и обществе индивида. Конечно, любую эпистемологическую систему можно искусственно уничтожить целенаправленными действиями политиков, лидеров общественного мнения и боссов науки репрессивными методами цензуры и некрополитики [Mbembe 2019], но такие «победы» обычно преходящи [Формозов 2004: 99–109].

2

Дихотомия «теория vs описание» в науках о человеке и его культуре мне видится ложной, поскольку любое описание делается на социолекте научного сообщества, следовательно в нем всегда имманентно присутствуют теоретические элементы в виде генерализаций типа «общество», «революция», «класс», «период» и др. Всякое знание «пронизано теорией» [Поппер 2002: 76–77]. Никто не отрицает очевидный факт, что сбор

данных и их качественное описание — процесс самый трудоемкий и наиболее ценный в социальных и гуманитарных науках. Пресловутое «коллекционирование марок», над которым иронизировал Э. Резерфорд [Bernal 1939: 9], т.е. издание и критика источников, систематизирование коллекций и совокупностей данных и т.п., является и лучшим убежищем в неблагоприятные для науки времена, и лучшим фьючерсом на рынке интеллектуального капитала. Однако отказ от разработки теоретических и эпистемологических проблем является интеллектуальным пораженчеством и отчасти паразитизмом, ведь тогда гордящийся своей атеоретичностью исследователь просто пользуется чужими наработками тех ученых, которые все-таки рискнули заняться вопросами теории и методики.

3

Мне лично наибольшую пользу в понимании и описании истории обществ раннего Средневековья принесла политическая антропология и теория организации и эволюции обществ [Джонсон, Эрл 2017; Крадин 2021]. В рамках этого подхода выявлены и описаны наиболее часто встречаемые в истории типы централизованных и децентрализованных политий и их лидеров [Lewellen 2003; Салинс 2018]. В частности, описан, наверное, самый универсальный тип централизованной политической организации в истории человечества, появление которого было управленческой революцией, — вождество [Skalník 2004; Earle 2021]. Также успешно решена проблема поиска критерия отличия государства от централизованных политических систем других типов. Главное отличие ранних и сложившихся государств заключается в наличии «специальных и общих функционеров», работающих с использованием письменности, ее аналогов, а также специальных квантитативных систем и перформативных текстов [Goody 1996; Крадин 2021; Щавелев 2021]. Дополняет политическую антропологию так называемая рационалистическая теория происхождения государства и других централизованно-иерархических социально-политических систем Ч. Тилли [Tilly 1985; Тилли 2009], продолженная и развитая В.В. Волковым [Волков 2020]. Она дает возможность описать формирование политических структур как инструментов аккумуляции и контроля ресурсов (капиталов) с помощью силовых методов насилия и принуждения, которые сами по себе являются ресурсом.

Разумеется, значительный прогресс в понимании обществ прошлого и настоящего дали социальный конструктивизм и теория воображаемо-ситуативной идентичности. Для меня это направление открыл Б. Андерсон [Андерсон 2001], причем его подход вполне приложим не только к современным нациям и национальным государствам, но и к общностям раннего Средневековья [Щавелев 2024]. Для историка и антрополога возможен исклю-

чительно «конструктивистский» подход к изучению феномена различных народов («этнических общностей»). Методологии гуманитарных наук не могут решить вопрос, объединяется ли та или иная этнокультурная группа врожденными и генетически наследуемыми перформативными признаками, присущими большинству ее представителей, или же ее общность есть результат воздействия социокультурных и идеологических практик, которыми достигается ее единство. Историки фиксируют отражения «социокультурных оболочек» отдельных общностей, т.е. знаковые системы манифестаций их единства и стратегии демаркации «чужих» и идентификации «своих» [Pohl 1998; 2013].

Современная цифровая эпоха создала идеальные условия для компаративных (сравнительных) исследований. Во-первых, радикально повысилась доступность изданий первоисточников, специальных и обобщающих научных работ, а также их переводов на разные языки. Появилась беспрецедентная возможность для объединения усилий специалистов по разным периодам и регионам. Если раньше качественные сравнительно-исторические штудии требовали от ученого быть полиглотом с уникальными мнемоническими способностями, то теперь таких титанических усилий уже почти не требуется. Ярким примером новой компаративистики может служить впечатляющее исследование Б. Триггера первичных цивилизаций, возникших благодаря эндогенным факторам без прямого влияния соседних более развитых обществ [Trigger 2003: 15–39].

Наконец, совершенно новый ракурс антропологии и истории обществ древности с Средневековья задала «семиотика вещей» [Байбурин 1981; Baiburin 1997], которая позволяет по-новому воспринять проблему агентности артефактов в поле социальной коммуникации [Латур 2014; Хольт 2023]. Причем она важна не только для археологии, что кажется вполне естественным [Вдовченков 2015], но и для понимания письменных источников, в которых предмет или любой неодушевленный объект имеет особый статус в нарративе и может оказаться вполне самостоятельным героем повествования. С точки зрения современной нарратологии каждая вещь в тексте может оказаться критически значимым макгаффином (англ. MacGuffin, McGuffin) [Lacy 2005].

Наконец, не теряет своей актуальности мотивный анализ [Силантьев 2004], структурно-типологический анализ сюжета и композиции, ну и — шире — все остальные формалистские подходы к тексту. Мною эти методы были использованы для анализа славянских легенд о первых князьях, отразившихся в самых ранних историографических сочинениях начала XII в. Польши, Руси и Чехии, что позволило показать их изоморфизм

и тесную связь с обрядами соревновательного пира («потлача»), ритуальной пахоты, переправы через реку и др. [Щавелев 2007].

4

Я считаю себя обязанным стараться по мере возможности четко декларировать все теоретические установки, а по необходимости еще и давать определения базовым терминам. Большие теории, например мир-системный анализ и рационалистическая теория естественного конструирования централизованных политических систем из диалектики насилия и капитала, задают направления и базовый вопросник исследований. Теории среднего уровня, например концепции вожества, раннего государства и др., позволяют сравнивать полученные фактические данные с неким образцом, полученным путем сравнительно-исторического и кросс-культурного анализа. При этом естественно, что, сохраняя некий инвариант некой теории, я, наверное, как любой исследователь, создаю собственную ее версию даже на уровне отбора прочитанных и понятых мною авторов, не говоря уже о переводе, калькировании или транслитерации иноязычных терминов и метафор. Таким образом, создание собственно теоретического идиолекта — сочетающий стихийность и рефлексивность самопроизвольный процесс, который запускается при любом самом прикладном исследовании. Упрощая ситуацию, можно сказать, что любая привлекавшая внимание теоретическая разработка может и должна быть применена к имеющемуся у исследователя материалу.

5

Наука как социальный институт и социальная практика, а значит и научное (по)знание как таковое, постоянно эволюционирует — развивается, деградирует или стагнирует. В поле науки происходит естественный отбор теорий, концептов, терминов, метафор и даже знаков. Так наука постоянно обновляет свой мемуфонд [Dennett 1991]. Одни теории (парадигмы) лучше и дольше выдерживают стресс фальсификации [Поппер 2002: 335–336], т.е. появление новых фактических данных и интерпретаций. Эволюция науки, подвижной верификацией и фальсификацией гипотез, не ведет к исчерпанию потенциала одних теорий, но фатально сказывается на других. Наконец, одни теории оказываются более привлекательными для новых поколений исследователей, другие — менее, одни получают общественную или политическую поддержку, другие — нет. Потенциал теорий, которые используются старшими поколениями исследователей, исчерпывается, а новые поколения используют уже новые практики и слова, ставят новые вопросы, открывают новые культовые фигуры в истории научного знания. Возникает естественная селекция теоретических ориентиров. Но в итоге этих стохастических процессов происходит рост объективного знания о мире людей [Поппер 2002]. Разумеется, в отдельных научных сообществах (школах, иных институализированных

или неформальных сообществах, дисциплинах, языковых континуумах, национальных государствах и др.) развивается искусственное мумифицирование отдельных исчерпавшихся теоретических конструкторов, намеренное или стихийное уничтожение новых направлений теоретической мысли или общественно-политическое и религиозное цензурирование или даже фатальное заражение зомби-концептами и деструктивными мемами, что не позволяет даже начинающим исследователям обновить эпистемологический инструментарий. Однако цифровая глобализация научного сообщества сейчас вполне дает возможность отдельным индивидам, не вписывающимся в доминирующий дискурс (диспозитив) своей специальности, консолидировать и даже институализировать свои альтернативные направления теоретической мысли поверх административно-научных дисциплинарных барьеров. Разумеется, эта ситуация имеет и положительную, и отрицательную стороны, поскольку таким же путем формируются целые сообщества пара-, псевдо- и имитационного научного знания, но при всех побочных эффектах современная научная среда наиболее плюралистична и открыто-конкурентна, а значит, позволяет рассчитывать на дальнейший прогресс в теории всех социальных и гуманитарных наук, т.е. в антропологии в самом широком смысле.

Библиография

- Андерсон Б. Воображаемые сообщества: размышления об истоках и распространении национализма. М.: Канон-Пресс-Ц, 2001. 288 с.
- Байбурун А.К. Семиотический статус вещей и мифология // Путилов Б.Н. (отв. ред.). Материальная культура и мифология. Л.: Наука, 1981. С. 215–226. (Сборник МАЭ. Т. 37).
- Вахштайн В.С.¹ [Реплика в] Форум: Антропология и социология // Антропологический форум. 2012. № 16. С. 41–50.
- Вдовченков Е.В. «Незамеченные революции» в антропологии и археология, или Почему археологи не читают Бруно Латура: [Реплика в] Форум: Незамеченные революции // Антропологический форум. 2015. № 24. С. 37–43.
- Волков В.В. Силовое предпринимательство. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2020. 360 с.
- Гринин Л.Е., Марков А.В., Коротаев А.В. Макроэволюция в живой природе и обществе. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 248 с.
- Дерлугьян Г.М. Как устроен этот мир? Наброски на макросоциологические темы. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2013. 376 с.
- Джонсон А., Эрл Т. Эволюция человеческих сообществ: от добывающей общины к аграрному государству / Пер. с англ. И. Кузнецова, Е. Веремеева; под науч. ред. О. Масловой-Вальтер, М. Маяцкого. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2017. 548 с.

¹ Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.

- Касавин И.Т. Социальная эпистемология: понятие и проблемы // *Epistemology & Philosophy of Science*. 2006. Vol. 7. No. 1. P. 5–15.
- Клейн Л.С. Принципы археологии. СПб.: Бельведер, 2001. 152 с.
- Крадин Н.Н. Антропология и медиевистика. Политантропологические перспективы в изучении медиевистики // *Universitas historiae*: Сб. ст. в честь П.Ю. Уварова. М.: ИВИ РАН, 2016. С. 557–565.
- Крадин Н.Н. Происхождение неравенства, цивилизации и государства. СПб.: Изд-во О. Абышко, 2021. 335 с.
- Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию / Пер. И. Латунской. М.: ИД ВШЭ, 2014. 384 с.
- Месуди А. Культурная эволюция: как теория Дарвина может пролить свет на человеческую культуру и объединить социальные науки / Пер. О. Собчука и А. Шелли. М.: Дело, 2019. 382 с.
- Поппер К.Р. Объективное знание: эволюционный подход / Пер. Д.Г. Лахути. М.: УРСС, 2002. 384 с.
- Салинс М.Д. Бедняк, богач, бигмен, вождь: политические типы в Меланезии и Полинезии / Пер. С.С. Будзинского и И.А. Кирпичникова // *Сибирские исторические исследования*. 2018. № 1. С. 18–41.
- Силантьев И.В. Поэтика мотива. М.: ЯСК, 2004. 295 с.
- Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства, 990–1992. М.: Дело, 2009. 359 с.
- Формозов А.А. Русские археологи в период тоталитаризма: историографические очерки. М.: Знак, 2004. 320 с.
- Хольт Ф. Когда деньги говорят: история монет и нумизматики от древности до поп-культуры / Пер. и коммент. А.В. Акопяна. М.: Бомбора, 2023. 496 с.
- Щавелев А.С. Славянские легенды о первых князьях: сравнительно-историческое исследование моделей власти у славян. М.: Северный паломник, 2007. 271 с.
- Щавелев А.С. Стейтогенез и письменность (в развитие концепции бюрократического аппарата как ключевого признака государства) // *Graphosphaera*. 2021. Т. 1. С. 20–40.
- Щавелев А.С. Народ русь IX–X вв.: этническая идентичность и социальная дифференциация // Бондаренко Д.М., Александров Г.В. (отв. ред.). Принципы и формы социальной организации: исторические контексты взаимодействия. М.: ЯСК, 2024. С. 135–169.
- Эванс-Причард Э. Антропология и история // Эванс-Причард Э. История антропологической мысли. М.: Восточная литература, 2003. С. 273–291.
- Baiburin A. The Functions of Things // *Ethnologia Europaea*. 1997. No. 27. P. 3–14.
- Bernal J. D. The Social Function of Science. London: G. Routledge & Sons LTD, 1939. 482 p.
- Dennett D.C. *Consciousness Explained*. New York; Boston; London: Black Bay Books, 1991. 511 p.
- Earle T. *A Primer on Chiefs and Chiefdoms*. New York: EWP, 2021. 168 p.

- Goody J.* The Logic of Writing and the Organization of Society. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 213 p.
- Kristiansen K.* Towards a New Paradigm? The Third Science Revolution and Its Possible Consequences in Archaeology // *Current Swedish Archaeology*. 2014. Vol. 22. P. 11–71. doi: 10.37718/CSA.2014.01.
- Kristiansen K.* Towards a New Prehistory: Re-Theorizing Genes, Culture, and Migratory Expansions // *Daniels M. (eds.). Homo Migrants: Modeling Mobility and Migration in Human History*. Albany: SUNY-Press, 2018. P. 31–54. (IEMA Distinguished Monograph Series).
- Lacy N.J.* Medieval Mcguffins: The Arthurian Model // *Arthuriana*. 2005. Vol. 15. No. 4. P. 53–64.
- Lewellen T.* Political Anthropology: An Introduction. Westport; London: Praeger, 2003. 276 p.
- Mbembe A.* Necropolitics. London; Durham, NC: Duke University Press, 2019. 213 p.
- Pohl W.* Telling the Difference: Signs of Ethnic Identity // *Pohl W., Reimitz H. (eds.). Strategies of Distinction: The Construction of Ethnic Communities*, 300–800. Boston: Brill, 1998. P. 17–70.
- Pohl W.* Strategies of Identification: A Methodological Profile // *Pohl W., Heydemann G. (eds.). Strategies of Identification: Ethnicity and Religion in Early Medieval Europe*. Turnhout: Brepols, 2013. P. 1–64.
- Shennan S.J.* Genes, Memes and Human History: Darwinian Archaeology and Cultural Evolution. London: Thames & Hudson, 2002. 304 p.
- Skalnik P.* Chiefdom: A Universal Political Formation? // *Focaal: European Journal of Global and Historical Anthropology*. 2004. No. 43. P. 77–98. doi: 10.3167/092012904782311434.
- Tilly Ch.* War Making and State Making as Organized Crime // *Evans P., Rueschemeyer D., Skocpol Th. (eds.). Bringing the State Back In*. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. P. 169–187.
- Trigger B.G.* Understanding Early Civilizations: A Comparative Study. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 757 p.

ТАТЬЯНА ЩЕПАНСКАЯ

О теории и движении

2
4

Рассуждая о теории в антропологии, приходится начать с того, чтобы определить свое положение в пространстве напряжения между полярными позициями, сформировавшимися в ходе дискуссий, не затихающих еще с 1980-х. Развитие критики прежде авторитетных «больших теорий» начиная от эволюционизма, а затем функционального, социологического, семиотического подходов побудило с большим вниманием относиться к теоретическому объяснению антропологических наблюдений. Должны ли теории

Татьяна Борисовна Щепанская

Музей антропологии и этнографии
(Кунсткамера) РАН,
Санкт-Петербург, Россия
poeahaly@narod.ru

в науке о человеке отвечать требованиям, актуальным для естественно-научных теорий? Не является ли анализ иных культур или обществ с помощью гипотез, т.е. с использованием исследовательской оптики, сформированной во внешнем по отношению к ним культурном контексте, формой колониального присвоения, навязанной дискурсивной рамки — и тем самым власти? Теории в некотором смысле оказались под подозрением как идеологически ангажированные и угрожающие объективности исследования, что сформировало в антропологии тенденцию, как пишет Рой Эллен, «вообще избегать теории или по крайней мере замаскировать ее под “этнографию как теорию” или “практику”» [Ellen 2010: 389]. В результате, анализируя новейшую историю нашей науки, Р. Эллен определяет ее как пространство двух противостоящих тенденций: «Одна (анти-теоретическая наука) отходит от позитивистских и научно обоснованных идей теории, а вторая (протеоретическая, но необязательно про-“наука” в узком смысле) жалуется на пренебрежение ими». При этом, с одной стороны, «отступление к этнографии» становится более рефлексивным и требует более строгих методологических обоснований, т.е. сама этнографическая практика движется в сторону теории; с другой — антропологические теории, как пишет тот же исследователь, со времен классических обзоров [Ortner 1984] «стали более популярными, сложными, частичными и эклектичными, можно даже сказать “более расплывчатыми”», отчасти удаляясь от позитивистских традиций теоретизирования [Ellen 2010: 389]. Нельзя сказать, что антропология не нуждается в теории и готова согласиться с ролью чисто эмпирической, описательной дисциплины и даже “fiction”, литературной формы. Активное обсуждение теоретических проблем свидетельствует о потребности в теории — и в то же время о неготовности вместить накопленные знания в рамки теоретических схем, аналогичных естественно-научным.

В первом приближении я могу принять представление пространства современной антропологии (в частности, сосредоточусь на социальной и культурной) как определяемого крайними позициями: эмпирической этнографии и (все еще слабо определенной) теории. Тогда остается задача определить свое положение в этом пространстве. Этнография, в том числе в ее форме включенного и участвующего наблюдения, остается для меня основным способом соприкосновения с культурными практиками, иными по отношению к сформированным моей собственной первичной социализацией. Опыт включения в разные социокультурные среды (от сельских до субкультурных, конфессиональных, стилевых сообществ или «сообществ вкуса») с целью их этнографического изучения, занимавший обычно

годы, не только фактически заполнил мою научную деятельность, но и сформировал / структурировал в целом проживаемую мною жизнь. В этом смысле я могу определить себя как этнографа-эмпирика.

Однако, погружаясь во все эти сообщества, овладевая хотя бы отчасти способами жизни в них и языками их описания, я не могла быть уверена, что вынесу из этого опыта то, что можно представить в научной среде как «знание»: оно оказывалось видимым тогда, когда определялись вопросы, т.е. как следствие исследовательской оптики. Разумеется, эта оптика не могла не определяться актуальными темами — дискуссиями в академической среде или разговорами в среде изучаемой (но последние, чтобы они были представлены в академии, требовалось переформулировать в воспринимаемых ею понятиях). Иными словами, проживаемый опыт «иных» культур и практик превращается в процесс познания, когда формируется площадка взаимодействия «символических вселенных» (Гирц) — зона их столкновения, наложения и перекрытия, где мое тело и опыт становятся устройством понимания и перевода. В этом процессе, в самой постановке вопросов, конечно, открыто или имплицитно присутствуют теоретические схемы, определяющие ключевые понятия, собственно язык этих вопросов, и формирующие пространство, где на них возможен ответ. В этом смысле я не могу определить свою позицию как свободную от теорий и не испытывающую в них потребности.

И это теории двух типов. Во-первых, касающиеся самого этнографического метода: его обоснования как релевантного познавательного инструмента, рефлексии как порядка коммуникаций, понимания его как процесса выстраивания когнитивного пространства на базе прежде разных, иногда невидимых и невозможных друг для друга пространств интеллигибельности. Здесь действительно сама этнография не сводится только к методу — метод как инструмент в руках познающего субъекта одновременно сам является объектом рефлексии, корректируемым и достраиваемым в процессе познания. Этнография больше не сводится к познанию инаковости и различий, диктуя необходимость также самопознания.

Второй тип теории, в которой я как эмпирик ощущаю необходимость, касается, разумеется, изучаемого объекта. Но в связи с ее формулированием и даже самой возможностью очевидны проблемы. Во-первых, те, с кем мы взаимодействуем в ходе антропологического исследования, не вмещаются в рамки объекта в его естественно-научном понимании: люди способны сопротивляться объективизации, познавать, в свою очередь, этнографа и представляемые им культурные общности,

меняться в связи с этим познанием и влиять на его/ее состояние (подвергая сомнению его/ее субъектность). Познающие и познаваемые в этом отношении равновелики, равноценны, и приписывание одной из сторон позиции объекта, а другой — субъекта познания возможно через их иерархизацию. Выстраивая иерархию и помещая одну сторону в качестве субъекта, определяющего цели, язык и формы познания (а значит, и освоения) культурных особенностей, принадлежащих другой стороне, мы вынуждены создавать отношения власти, а исследование тем самым превращать в идеологию — язык и средство доминирования. Эти темы, обсуждавшиеся активно в период открытия «кризиса репрезентации», я упоминаю здесь, чтобы показать, что в случае антропологии как науки о человеке сопротивление объективизации вовсе не сводится к социальной борьбе или соперничеству за право субъектности, но представляет собой философскую и когнитивную проблему. Тут важно, что антропология претендует на познание человека в целом, а не отдельных его аспектов — биологических, психологических, эстетических или каких-либо еще, определяемых в чистом пространстве абстракции. Но сама эта целостность определяется в разных культурных средах по-разному, тем самым исключая возможность ее единого определения (с вытекающим набором концепций-инструментов).

Рой Эллен упоминает еще один аспект антропологической теории — ее связь с самоопределением исследователя: «Теории <...> служат многим целям и, безусловно, делают больше, чем просто помогают нам разобраться в сырых данных: они определяют нас как ученых — исследователей и отдельных лиц, а также с точки зрения воспринимаемого качества нашей работы» [Ellen 2010: 389]. Это высказанное мимоходом замечание апеллирует к теме, на мой взгляд, заслуживающей специального исследования. Теоретические предпочтения исследователя, по крайней мере в части случаев, становятся также маркером идентичности ученого, его/ее принадлежности к научному направлению — и тем самым нередко к группе, формируя в разной мере явные кружки или научные школы. Здесь мы касаемся обширной области социальной антропологии науки — таких тем, как связь теории и моды, престижа той или иной концептуальной рамки / дискурсивной схемы, стиля теоретизирования в научной и общественной среде, связь с горячей актуальностью и запросом со стороны финансирующих групп и организаций, медиа и общественного мнения. Все это, разумеется, актуально не только для антропологической теории. Вообще, полагаю, рассуждения о теории, ее месте в научной деятельности, теоретических предпочтениях научных работников все больше упирются в необходимость понимания места этих работников

2
1

и самой науки в системе социальной (и дискурсивной) организации общества, экономических потоков и отношений, без учета влияния которых понимание выбора в дискурсивной сфере (а научная теория может рассматриваться как вариант дискурсивной продукции) не может быть полным.

В той же перспективе можно обсуждать и все еще актуальный вопрос о том, чем вызвано неприятие теории частью антропологов, провозглашающих «возвращение к этнографии» или, как пишут инициаторы нашего обсуждения, «от теории к описанию». Почему некоторые из нас «отбиваются» от теоретизирования, как будто любая теоретическая модель угрожает чистоте и объективности исследования? Одно из оснований — это обвинения в ангажированности (политической или в ином отношении конъюнктурной): в этом отношении фактически любая из «больших» теорий находится под подозрением (см. обзор: [Martin, Flynn 2015]). В то же время в академической среде подобная вовлеченность обычно рассматривается как препятствие к познанию. Эта позиция в немалой степени сформировала критический подход, где вовлеченность в актуальные общественные движения или политические задачи нередко становилась синонимом искажений получаемого антропологического знания. Однако в том же обзоре авторы демонстрируют, что «большая часть наиболее важных нововведений в нашей теории проистекает из желания разобраться с запутанными сложностями таких задач, а не из желания изолировать себя и наши теории от таких процессов. Разработка антропологической теории посредством стремления заниматься вопросами, волнующими широкую аудиторию, сегодня остается столь же возможной и столь же важной, как и всегда» [Martin, Flynn 2015: 14]. На мой взгляд, сама эта статья — симптом происходящего изменения дискурса: авторы призывают больше не обвинять ту или иную теоретическую модель в ангажированности, признавая ее, но интерпретируя ангажированность как актуальность исследования (ср. обсуждение похожих проблем: [Kubota 2011]).

Интересно, что академический пуризм Мартин и Флинн связывают отчасти с моделью финансирования научной деятельности, когда продвижение ученого зависит от публикации в научных журналах, а не от решения общественных проблем. Тогда нельзя ли связать их собственную позицию — призыв разрабатывать теории в процессе вовлечения в актуальные проблемы — с финансированием научных исследований корпорациями и общественными фондами, ориентированными как раз на такие проблемы? Этот фактор я бы не стала отбрасывать и при анализе процессов сегментации антропологии: ее субдисциплины, такие как медицинская антропология и др., все более

активно вписываются (тематически и дискурсивно) в актуальные ныне сферы интересов соответствующих экономических, а иногда и политических акторов. Но, повторяюсь, экономические, политические и другие внешние детерминанты процессов, происходящих в антропологической науке, требуют серьезного исследования, а пока это предположение, основанное на отдельных и субъективных наблюдениях.

3

4

Возвращаясь к теоретическим запросам практикующего этнографа: в моей практической деятельности более всего ощущается нужда в теории среднего уровня. Обычно подходящие для развития или оспаривания концепции легко обнаруживаются в любой тематической области, поскольку большинство антропологов так или иначе теоретизируют, даже осмысляя конкретное поле. Но вот в сложении антропологических концепций движения есть особенности.

В настоящее время (если относить к нему первые десятилетия XXI в.) в социальных и гуманитарных науках ощущается интерес к самой теме движения в качестве объекта исследования, как и понимание междисциплинарного характера этого интереса / объекта. Столь же очевидна и потребность в теории, обобщающей разные концепции движения.

Так, в книге А.В. Головнёва «Антропология движения» [Головнёв 2009] представлен впечатляющий анализ пространственных передвижений народов и культур Северной Евразии в историко-этнографической перспективе, а также форм культурной адаптации к различным формам подвижности. Примечательно, что этому исследованию предшествует обширная вступительная часть, которая призвана задавать рамку исследований движения. Начиная с общих понятий динамики и статики, телесной организации и визуализации движения, автор переходит к более конкретной тематике передвижений в пространстве, обсуждая принципы классификаций культур по признакам, связанным с их подвижностью, например различием локальных и магистральных культур.

Обзор концепций движения XX в., популярных в англоязычном антропологическом сообществе, дает Энн Дэли [Daly 1988], предлагая объединить их, как элементы пазла, в единый метод — анализ движения (*Movement Analysis*). Основное внимание в этом обзоре уделяется научным школам и обществам, сложившимся вокруг исследования движений человеческого тела, таким как Американская ассоциация анализа движения Лабана (the American Association of Laban Movement Analysts — AALMA) и секция анализа танца и движения Американского фольклорного общества (the Dance and Movement Analysis section of the American Folklore Society) [Daly 1988: 48]. Понятно,

что в науках о человеке особое внимание было привлечено к движениям человеческого тела. Традицию, восходящую к М. Моссу, продолжили исследования танца, актуальные для фольклористики; затем в фокус внимания попали движения, связанные с невербальной коммуникацией и невербальным поведением в целом. Э. Дэли [Daly 1988: 40] отмечает вклад этих исследований в методологию, указывая на тест Пола Экмана для оценки аффектов лица (Paul Ekman's Facial Affect Scoring Test), анализ движения Лабана (Laban Movement Analysis — LMA) и кинесику Рэя Л. Бердвистелла (Ray L. Birdwhistell's kinesics). В первые десятилетия XXI столетия в центр обсуждений переместилась «парадигма новых мобильностей», сосредоточившаяся на передвижениях человеческих тел, вещей и прочих атрибутов в физическом / географическом пространстве. Это междисциплинарное направление, в рамках которого антропологическое теоретизирование связано с историко-социологическим анализом Джона Урри [Urry 2007; Урри 2012], социальной географией, миграционными исследованиями и урбанистикой (см., например: [Shaw, Hesse 2010; Cohen 2019]). Дж. Урри предлагает рассматривать современные формы мобильности в связи с инфраструктурными системами мобильности, которые включают проложенные пути и сложившиеся практики, институты, организации, обеспечивающие передвижения и обслуживающие мобильное население.

Можно долго перечислять концепции отдельных форм движения, используемые в антропологии, но я бы хотела отметить тенденцию в конце концов присоединить изучаемую форму движения к той или иной уже сложившейся области, такой как исследования телесности или пространства, где тематика движения попадает в подчиненную позицию, соскальзывая на периферию. Так, в конце уже упоминавшегося обзора Энн Дэли приходит к заключению, что «анализ движения должен быть связан с другими способами рассмотрения тела; только посредством взаимодействия с другими методологиями и теориями анализ движений может внести свой вклад» [Daly 1988: 48]. Но такая стратегия уводит исследовательскую мысль от проблематики собственно движения, растворяя ее в данном случае в телесности, в других — в пространственных исследованиях, глобализации, технических средствах перемещения и т.д. Такого рода подходы отводят движению вспомогательную роль, исследуя его как одно из качеств центрального для данной сферы объекта. Внимание перемещается от него как процесса к тому «иному» (почему иному? Разве что-то лишено движения?), что обладает им как качеством (а может не обладать?). Объект (тело, которое движется) отделяется от движения и соотносится с другими объектами того же класса «тело» и в этой

системе соотнесения становится более значимым / видимым, чем движение, которому отводится роль одного из качеств этого типа объектов.

Обращаясь к теме движения, исследователи время от времени артикулировали феномен, который занимает и меня (в некоторой степени останавливая): назову его «невидимость» движения как ускользание его от теоретических усилий и даже языковых определений. Словно есть какое-то препятствие его концептуализации. Э. Дэли указывает на относительную «невидимость» (выпадение из поля обсуждений) в антропологии формальных, собственно двигательных характеристик телесной моторики, связывая это с традиционно низким статусом невербальной коммуникации по сравнению с вербальной [Daly 1988: 42]. О некоторых ограничениях в артикулировании движения писал В.Н. Топоров в статье, открывающей том «Концепт движения в языке и культуре» (1996), базирующийся в основном на этнолингвистических и семиотических исследованиях. Эти ограничения обнаруживаются в раннефилософских традициях, как европейской, так и индийской: «Как известно, — начинает он свои рассуждения, — мировой философской мысли понимание движения долгое время не давалось, и такие выдающиеся мыслители, как Парменид, Зенон или Нагарджуна (если обращаться к двум древним традициям умознания, в которых проблема движения впервые, по сути дела, была выделена как самостоятельная и подлежащая исследованию, — к древнегреческой и древнеиндийской, конкретнее к элеатам и мадхьямикам), тратили свои лучшие силы на опровержение движения, доказательство логической несостоятельности этого понятия применительно к высшему уровню <...> к сфере “подлинного”, абсолютного, ноуменального, признавая в то же время “практическое” удобство понятия движения применительно к “мнению” <...> к “истине покрова” <...>, соответственно к сфере “неподлинного”, мнимого, феноменального» [Топоров 1996: 7]. Это неожиданным образом соотносится с моим разговором с облеченным учеными степенями представителем физической науки, которая преподносится школьной программой как отвечающая за концептуализацию движения в современной культуре. В ответ на мой наивный вопрос: как физики говорят о движении? — он, помолчав, ответил, что есть переменные — функции времени... а «движение» — это, наверное, для разговоров с непосвященными. Далее В.Н. Топоров рассматривает сравнительные историко-лингвистические материалы, позволяющие восстановить обозначения движения в первую очередь в славяно-балканских языках, и обнаруживает, что «язык испытывал серьезные трудности в выработке о б щ е г о понятия движения и долгое время ограничивался выработкой обозна-

чений отдельных видов “эмпирического” движения» [Топоров 1996: 14; разрядка автора. — Т.Щ.]. (Заметим, что в истории антропологической науки мы фиксируем чаще всего работы и целые научные школы, сосредоточенные на конкретных формах движения.) Представив впечатляющий массив лингвистических данных, В.Н. Топоров связывает «неуловимость» движения в ранней языковой картине мира с отсутствием в мифопоэтическом сознании общего понятия пространства как гомогенного, непрерывного — и производного от него такого же общего понимания движения. Каждому варианту качественно неоднородного пространства должны были соответствовать столь же неравнозначные формы движения [Топоров 1996: 25].

Поставить в центр внимания движение как таковое, подвижность всего изучаемого в антропологии и тем самым переопределить ее объект и методологию предлагает Тим Ингольд в рамках парадигмы «антропологии линий» [Ingold 2011a; 2011b; 2016]. Приглашая к размышлению, он задает вопрос: что общего между движением (например, ходьбой или прогулкой), познанием и письмом? И отвечает: все они движутся вдоль линий. Этот принцип Тим Ингольд предлагает распространить на любую практику, например ремесло, и положить в основу методологии: антропология, что бы она ни изучала, должна сосредоточиться на «линиях», описывающих движение. Таким образом, от поиска теории движения (которую я как полевой исследователь полагала теорией «среднего уровня») Тим Ингольд переходит к проекту общей методологической рамки для антропологии (актуальной и в междисциплинарной перспективе). Предложение выглядит логичным и давно назревшим.

Видится, однако, уязвимость в *объектности* основного термина, призванного артикулировать движение, — «линии», в то время как сам Ингольд призывает выстраивать познание вокруг *процессуальности*. «Линии»: основной номинант — именной, тем самым он определяет находящееся в фокусе познания как объект. Не потому ли динамические аспекты реальности стремятся ускользнуть из поля познания, что самое объектное мышление есть результат абстрагирования от процессуального? Тим Ингольд проводит аналогию разных процессов (ходьбы или изготовления) и познания, настаивая на их изоморфности. И даже упоминает о глагольной форме представления познаваемого. Но не делает шаг к разработке неименного инструментария. Он предлагает теорию, в рамках которой любой объект рассматривался бы как процесс, например ветер — как его дуновение, поток — как течение, аналогично производство, познание и любые другие виды деятельности — в их процессуальной перспективе, для представления которой вводится понятие

«линии» (line). Ингольд ссылается на ограниченность (английского, но это относится и к другим) языка, на котором говорят «ветер дует», разделяя объект и процесс. Это разделение, предвзятое изучение, уже предполагает объект как отделенный от его процессуальной сути, т.е. от движения. «Линия» — это предлагаемый им инструмент сосредоточения на движении применительно к любому объекту. Однако это тоже имя, фиксирующее объект, как и само понятие «движение». Процессы также могут быть представлены в виде математической функции, а она — геометрически в виде формы (прямая, гипербола, парабола и др.), позволяющей наблюдать разные фазы движения одновременно. Понятия в их именной форме, как и геометрически представленные функции, приводят изучаемое в вид, пригодный для объектного представления, т.е. это адаптация их к объектной форме мышления. Если задача ограничивается исследованием движения как объекта, этого достаточно, поэтому нет особенных затруднений в исследованиях, посвященных его конкретным формам, от танцев и мимики до кочевых культур. Однако на том или ином этапе (в том числе на современном) мы наблюдаем потребность в более общей теории, обнаруживается методологический потенциал концепций движения, которое имеет тенденцию превратиться из объекта в инструмент. На этом этапе размышления о движущемся мире сталкиваются с ограничениями, накладываемыми объектной формой мышления, поддерживаемой, однако, и языком, и институциональными рамками самой науки, как и общественных структур, от которых она получает запрос на знание. Наука, как один из институтов генерации терминологических или, шире, знаковых систем, полагаю, имеет возможность работать над формами познания, выходящими за рамки объектного представления познаваемого. Выработка такого инструментария, полагаю, назрела на уровне общей теории. И здесь может быть полезен опыт антропологии, которая уже сталкивалась с ограниченностью субъект-объектной перспективы в практике своих полевых исследований и даже успела артикулировать ее как проблему.

Библиография

- Головнёв А.В. Антропология движения (древности Северной Евразии). Екатеринбург: УрО РАН; Волот, 2009. 496 с.
- Топоров В.Н. Об одном из парадоксов движения. Несколько замечаний о сверхэмпирическом смысле глагола «стоять», преимущественно в специализированных текстах // Агапкина Т.А. (отв. ред.). Концепт движения в языке и культуре. М.: Индрик, 1996. С. 7–88.
- Урри Дж. Мобильности / Пер. с англ. А.В. Лазарева. М.: Праксис, 2012. 576 с.

- Cohen K.* Human Behavior and New Mobility Trends in the United States, Europe, and China // Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM). 2019. Working Paper No. 024.2019. 43 p.
- Daly A.* Movement Analysis: Piecing Together the Puzzle // TDR (1988–). Vol. 32. No. 4. 1988. P. 40–52.
- Ellen R.* Theories in Anthropology and “Anthropological Theory” // The Journal of the Royal Anthropological Institute. 2010. Vol. 16. No. 2. P. 387–404. doi: 10.1111/j.1467-9655.2010.01631.x.
- Ingold T.* Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description. New York: Routledge, 2011a. 358 p.
- Ingold T.* Movement, Knowledge and Description // Parkin D., Ulijaszek S. (eds.). Holistic Anthropology: Emergence and Convergence. New York; Oxford: Berghahn Books, 2011b. P. 194–211.
- Ingold T.* Lines: A Brief History. London; New York: Routledge, 2016. 208 p.
- Kubota S.* From Applied Anthropology to an Anthropology of Engagement: Japanese Anthropology and Australianist Studies // Musharbash Y., Barber M. (eds.). Ethnography and the Production of Anthropological Knowledge: Essays in Honour of Nicolas Peterson. Canberra: ANU Press, 2011. P. 123–132.
- Martin K., Flynn A.* Anthropological Theory and Engagement: A Zero-Sum Game? // Anthropology Today. 2015. Vol. 31. No. 1. P. 12–14. doi: 10.1111/1467-8322.12153.
- Ortner S.B.* Theory in Anthropology since the Sixties // Comparative Studies in Society and History. 1984. Vol. 26. No. 1. P. 126–166.
- Shaw J., Hesse M.* Transport, Geography and the “New” Mobilities // Transactions of the Institute of British Geographers. 2010. Vol. 35. No. 3. P. 305–312. doi: 10.1111/j.1475-5661.2010.00382.x.
- Urry J.* Mobilities. Cambridge; Malden, MA: Polity Press, 2007. 335 p.

ТЕОРИИ, КОТОРЫЕ МЫ РАЗДЕЛЯЕМ... И КОТОРЫЕ РАЗДЕЛЯЮТ НАС

Замышляя (с подачи и при участии Сергея Соколовского) «Форум» о теории, мы совсем не знали, чего ожидать. Эта тема с равной степенью вероятности могла оказаться и довольно горячей, как затрагивающая чувствительные места, и, наоборот, слишком умозрительной, чтобы вызвать живой интерес. К нашей радости, получилось ни то, ни другое. Судя по количеству реплик (22), поступивших за сравнительно короткий срок, наши вопросы вызвали у коллег довольно живой отклик. В то же время, хотя некоторые ответы оказались довольно эмоциональными, общий тон «Форума» весьма сдержанный и конструктивный. Как бы то ни было, мы искренне благодарим всех участников за вдумчивые и искренние ответы и с удовольствием присоединяемся к ним с несколькими обобщающими наблюдениями.

1**3**

«Форум» не выявил консенсуса относительно понимания самого термина «теория», а также ее роли в антропологии. С одной стороны, теория понимается в более или менее позитивистском духе как призванная *«объяснять»* изменения и процессы, их детерминацию и результаты; она формулирует или эксплицирует *правила и закономерности* и содержит элементы прогностики» (Сергей Соколовский). С другой стороны, «теория» воспринимается во многом как способ сюжетостроения, т.е. как организационная рамка, делающая возможным такое связанное повествование, в ходе которого (этнографический) материал превращается в (проблемную) историю» (Сергей Ушакин). Данное понимание можно охарактеризовать как литературо- или текстоцентричное. Эта оппозиция, безусловно, не нова. Она отсылает к неокантианскому противопоставлению номотетических и идеографических наук, а также свидетельствует о том, что антропология до конца не определилась, на какой стороне этого разлома она находится.

Сергей Сергеевич Алымов

Институт этнологии
и антропологии РАН,
Москва, Россия
alymovs@mail.ru

Павел Сергеевич Куприянов

Институт этнологии
и антропологии РАН,
Москва, Россия
kuprianov-ps@yandex.ru

Снять данную оппозицию стремится позиция Тима Ингольда: «На мой взгляд, теории — это не инструменты, которые мы используем, а разговор, к которому присоединяемся. Природа разговора, как и теорий, заключается в том, что он не имеет ни конца, ни границ и включает много голосов». Однако для всех ли желаем идеал «многоголосия»? Стремится ли антропология к описанию, пониманию, объяснению или, как считает Тим Ингольд, к образованию?

С одной стороны, многие авторы отмечают наличие данного многоголосия и вполне удовлетворены этим. Для них отсутствие единой парадигмы не только реальность, но и ценность: «[Т]осковать по единой “старой доброй антропологии”, когда “теории были большими”, так же глупо, как и пытаться забаррикадироваться от всякого внешнего воздействия внутри своей узкой субдисциплины» (Михаил Алексеевский). По наблюдению Дмитрия Функа, широчайшая палитра субдисциплин и «антропологий» («антропология драгоценных камней, смеха, страха, проституции, моды, спорта, цвета, или, скажем, войны, смерти и даже космоса») позволяет с уверенностью говорить, что «единая теория тут вряд ли возможна и, более того, вряд ли уместна». Андрей Туторский (вслед за Алексеем Никишенковым) говорит об антропологических теориях прошлого как о «банке идей и подходов», каждый из которых сохраняет определенную ценность. В заметно менее оптимистичном тоне Сергей Абашин констатирует «общее отвращение к теоретизированию», которое проявляется в России даже ярче, чем в других странах. Эту российскую специфику, связанную с до сих пор ощущающейся травмой от идеологического насилия «единственно верного учения», отмечает целый ряд авторов (в частности, Андрей Адельфинский и Ольга Артемова). Однако Игорь Кузнецов, напротив, считает, что необходимость общей «большой» теории «ощущается разве что в российском случае», в мировой же практике единство антропологии «поддерживается почти исключительно на институциональном уровне». А этому мнению, в свою очередь, противоречит утверждение Габриэлы Варгас-Цетины, отмечающей, что начиная с 1980-х гг. вплоть до последнего времени антропология развивалась в рамках одной парадигмы — «постструктуралистской, постколониальной, культурно релятивистской и в высшей степени политической».

С другой стороны, ряд коллег указывают на «балканизацию» дисциплины и размывание ее предмета как на проблему. Филипп Пестей констатирует раздробленность и разрастание как тенденции развития французской антропологии начиная с 1980-х гг., хотя и указывает на то, что потеря единства «компенсировалась приобретениями в расширении тематики и подходов». Наиболее эмоционально проблему ставит Ольга Арте-

мова: «Можно к любому предмету, хоть к чайнику, добавить слово “антропология” и получить новое направление или новую субдисциплину». Дмитрий Бондаренко также отмечает тенденцию к превращению антропологии в «науку обо всем в мире сущем» и видит в «большой антропологической теории» научно-философскую рамку, которая сохранит понимание «что такое антропология» и очертит ее границы. Какого же рода большая теория может претендовать на эту роль?

По этому вопросу среди авторов нашего «Форума» единства также нет. Пожалуй, наибольшее число голосов по-прежнему набирает эволюционизм — с различными оговорками и приставками. Николай Крадин пишет о неозволюционизме как последней большой теории, выводы которой на настоящий момент фигурируют «в любом антропологическом учебнике». Алексей Щавелев также предлагает «неозволюционистскую компаративно-историческую социокультурную антропологию» в качестве большой теории наук о человеке XXI столетия. Юрий Березкин подразделяет антропологию на две субдисциплины — «ту, которую интересует возникновение и развитие социума и культуры, и на исследующую механизмы функционирования сообществ» — и признает большой теорией первой дарвинизм, подчеркивая незапрограммированность и многофакторность хода эволюционного развития. В наиболее эксплицитной форме данную «антропологическую парадигму» выражает Варвара Бахолдина, единственный биологический антрополог в данном «Форуме». По ее мнению, во всех субдисциплинах биологической и социокультурной антропологии по-прежнему можно вычленить «центральную идею», которой является «концепция прогрессивного эволюционного развития — движения от простого к сложному, от архаики к современности, теория биологического, культурного и социального прогресса».

Проблема, однако, заключается в том, что «большие теории», как указывает ряд дискуссионщиков, не формируются по дисциплинарному принципу, а, напротив, пересекают границы дисциплин и стремятся к созданию «теории всего, обнаружению какой-то универсальной, базовой структуры, принципа, механизма, позволяющего понять большие процессы, объяснить глобальные социальные противоречия и проблемы» (Екатерина Мельникова). Ольга Христофорова констатирует, что такие парадигмы, как структурно-семиотический подход, могут объединять «часть антропологов и часть фольклористов с единомышленниками из других научных цехов». Наконец, Сергей Ушакин указывает, что «теоретическое понимание знания» формируется не антропологическими теориями. Однако в российском контексте в связи с болезненной историей борьбы этнографии-антропологии за дисциплинарную и профессиональную авто-

номию это может вызвать озабоченность. С этой точки зрения, междисциплинарность угрожает антропологии «внедисциплинарностью», «рассуждательностью» и в конечном итоге антинаучностью (Ольга Артемова).

Более того, следование теории, как напоминает Алексей Голубев, само по себе «социальная практика», обусловленная не только эвристическим потенциалом той или иной теории, но и ее способностью послужить своего рода социальным лифтом, «пропуском в международный академический социальный класс». В связи с этим Алексей Голубев призывает бороться с «квази-колониальной моделью производства знания» при помощи поиска собственных концептуальных моделей и обращения к российским / советским интеллектуальным традициям. Сергей Ушакин встает на сторону «туземной науки», поскольку она ближе к материалу, а Дмитрий Баранов указывает на то, что идеи, похожие на перспективизм или акторно-сетевой подход, были высказаны в российской филологии и семиотике намного раньше, однако не были должным образом теоретизированы. Таким образом, на основе некоторых реплик мы можем констатировать, во-первых, заметную усталость от перепроизводства теорий, мелькания концептуальных поворотов, даже следить за которыми кажется «невозможной задачей и стратегией» (Сергей Абашин), а во-вторых, стремление обратиться к «местному знанию», представленному в данном случае российской интеллектуальной традицией, в поиске нового вдохновения для теоретизирования.

Возвращение к «хорошо забытому старому» — не единственный тренд, который видят эксперты. Ряд авторов фиксирует в качестве главной тенденции развития теоретической мысли «отказ от концепции центричности (неважно, идет ли речь о евроцентризме или антропоцентризме) в пользу множественности, полилокальности, много(меж)видовости» (Дмитрий Баранов). Постантропоцентристский вектор развития всех наук о человеке обусловлен, по Сергею Соколовскому, не только кризисом представлений о человеке как объекте антропологии, но и трансформацией самого человека в реальности в связи с развитием науки и технологий. Этот тренд может выражаться как в развитии определенной тематики (взаимодействие человека и технологий), так и в перспективах, хотя и довольно смутных и неоднозначных, появления новой «большой теории», которая ряду коллег (Ольга Христофорова, Сергей Абашин) видится в применении к предмету антропологии методов и «законов» естественных наук.

2

Отвечая на вопрос о соотношении в современной антропологии теории и описания, многие коллеги отмечают искусственность

и даже ложность самого этого противопоставления: кто-то подчеркивает, что теория всегда встроена в любое описание уже на уровне языка — в виде используемых понятий и категорий (Алексей Щавелев), и даже глубокое и многолетнее погружение в исследуемое сообщество не делает антрополога «свободным от теорий и не испытывающим в них потребности» (Татьяна Щепанская), другие замечают, что исходные теоретические установки исследователя корректируются под воздействием поля (Андрей Тудорский, Сергей Ушакин), третьи указывают на «насыщенное описание» (Николай Крадин) или на *grounded theory* (Дмитрий Функ) как на примеры неразрывного синтеза теоретической и описательной составляющей. Тим Ингольд в своей реплике проблематизирует эту дихотомию, замечая, что разделение антропологии на теорию и описание является производным от «добывающей» модели получения знания, воспроизводит колониальное неравенство и что отказ от теории в пользу этнографии не решает проблему, а лишь усугубляет ее, поскольку в этом случае антропология уступает место для обобщений и выводов более влиятельным дисциплинам и тем самым вслед за героями этнографических описаний становится поставщиком «сырья» для теоретиков. Об отношениях власти и доминирования, встроенных в субъект-объектную парадигму, напоминает и Татьяна Щепанская, подчеркивая, что сопротивление объективации представляет для антропологии философскую и когнитивную проблему. Преодоление этой иерархии Тим Ингольд связывает с переосмыслением исследовательского процесса: не как сбора материала о других людях (с последующим его обобщением), а как совместного с ними процесса познания мира (по образному выражению, «обучения в мультиверситете»). В этом же, по наблюдению Сергея Ушакина, заключаются и современные тенденции антропологического письма, все более смещающие фокус с автора текста на сопутствующие ему социальные контексты и реализующие принципы распределенного авторства, согласно которым объект (будь то представитель какой-то группы / сообщества или материальный предмет) становится полноправным участником процесса.

Примечательно, что эти тенденции, знаменующие очередной этап развития антропологии как литературной практики, Сергей Ушакин расценивает не как движение *от* теории, а, напротив, как дальнейшую теоретизацию процесса антропологического письма, проникновение теории в само описание, а стало быть, усиление «удельного веса» теории в антропологии. Между тем большинство авторов «Форума» трактуют критическую парадигму, восходящую к классическим работам середины 1980-х (“Writing Culture” и “Anthropology as Cultural Critique”) и в значительной степени определившую современное состоя-

ние антропологии, как антитеоретическую и соответственно связывают наблюдаемое или ожидаемое возвращение теории с отказом от этой оптики и соответствующей ей практики¹. Например, Сергей Абашин выражает уверенность в том, что в ближайшее время «подозрение к теории сменится на новый интерес к теоретизированию и построению строгих объяснительных моделей», так как уже сейчас в антропологии есть «усталость от критической деконструкции и стремление найти из кажущегося тупика выход в новую большую теорию». О тупиковости и бесперспективности понимания антропологии как литературного творчества или социального активизма говорит и Дмитрий Бондаренко. По его наблюдению, еще малозаметный, но уже очевидно назревший поворот от исчерпавшего себя постмодернизма обещает восстановление «подорванной ныне веры в возможность объективного познания культур» и реабилитацию «собственно исследования культур (а не их описания или авторской рефлексии по их поводу) как задачи и смысла деятельности антрополога» (нельзя не отметить, что эта реплика выглядит как прямая полемика с позицией Тима Ингольда).

Хотя почти все авторы, приславшие ответы на вопросы, согласны с тем, что обсуждаемое движение от описания к теории или вот-вот начнется, или уже началось (Михаил Алексеевский и Ольга Христофорова относят первые проявления новой «моды на теорию» и «отказ от отказа от больших теорий» к 2010-м гг.), далеко не все оценивают его одинаково и однозначно положительно. Так, если Сергей Соколовский связывает грядущие изменения с появлением нового перспективного интегрального «постантропоцентристского» направления, то Ольга Артемова, напротив, с опасением смотрит на призывы отказаться от антропоцентризма и обличает «амбициозные попытки внедрить якобы новые методологии» как мудрствования, лишенные глубокого исследовательского поиска. Ольга Христофорова не без удивления отмечает, что наблюдаемый интерес к теории то и дело оборачивается не новыми течениями, а движением вспять, возвращением в «бывшие старицы», примером чего может служить реактуализация старых концептов вроде бриколажа или «выявления бинарных оппозиций» в «текстах культуры».

Говоря о ситуации в отечественной антропологии, разные авторы, вне зависимости от разделяемых ими взглядов, отмечают двусмысленность и противоречивость сложившегося на

¹ Похоже, что дело здесь не только в разных взглядах на цель и смысл деятельности антрополога, но и в разном понимании *теории*: одни трактуют ее в объективистском ключе, имея в виду «большую теорию» и объяснительные схемы и модели, тогда как для других теоретизирование подразумевает в первую очередь процесс создания антропологического текста.

сегодняшний день отношения к теории и теоретизированию. С одной стороны, постструктуралистская критика и кризис позитивизма породили устойчивое и привычное подозрение и скепсис в отношении любых теоретических схем. С другой стороны, теория в антропологии не утратила легитимности, и в ней существует очевидная необходимость, выраженная как в виде официальных требований к квалификационным работам и журнальным статьям, так и в виде собственно научной потребности. Необходимость учитывать и совмещать эти две противоположные установки (потребность в теории и подозрение к ней) приводит, по наблюдению многих участников обсуждения (Сергея Абашина, Михаила Алексеевского, Сергея Соколовского, Ольги Христофоровой), к характерным последствиям, а именно к ритуальному, орнаментальному, поверхностному использованию теорий, своего рода карго-культу, когда те или иные теории упоминаются исследователем лишь для соблюдения формальных требований. Такой режим позволяет чисто символически присоединиться к той или иной авторитетной концепции или имени, но не предполагает включения автора в научную дискуссию по проблеме, обсуждения эвристических возможностей упоминаемых концепций или особенностей материала, выявляемых с помощью их инструментария.

В решении этой проблемы материалу придается особое значение. Алексей Голубев доказывает необходимость отказаться от пагубной практики, при которой собственный полевой материал служит лишь иллюстрацией авторитетной теории (на эту проблему указывает и Игорь Кузнецов), и призывает создавать на его основе собственную теорию. Ольга Артемова подчеркивает важность получения «из первых рук» «как можно более обширного фактического материала» — потенциального источника ценных обобщений и инсайтов, Сергей Ушакин пишет о том, что именно материал в наибольшей мере определяет оригинальность авторского подхода и метода, и мастерство исследователя состоит в том, чтобы «найти новый материал, который позволил бы высветить что-то неизвестное в хорошо знакомых теориях». Дмитрий Функ напоминает о *grounded theory* как инструменте, предоставляющем исследователю «возможность генерировать в процессе исследования собственную теорию». И в целом самостоятельное производство теорий на основе собственного «сырья» выглядит довольно логичным и универсальным решением, обещающим преодолеть не только глобальное академическое неравенство, но и формальное обращение с теорией, и даже напряжение между теорией и описанием. Однако проницательные наблюдения Екатерины Мельниковой показывают, что это не так и что творческий подход

к теоретизированию имеет и весьма ощутимые негативные последствия для научной дискуссии.

Анализируя использование теории в антропологии и смежных науках, она приходит к выводу, что современная модель обращения с теориями может быть обозначена как *генеративная*, порождающая, которая предполагает «не работу с имеющимися концепциями, а творческие усилия по созданию новых». Изобретение новых понятий и языка, пересборка концептуального аппарата и канона историографии — все это, по меткому выражению Екатерины Мельниковой, сегодня «вошло в научный катехизис молодого бойца на академическом фронте» как средства, позволяющие избежать страшного для современного интеллектуала «греха вторичности». Борьба с этим грехом (кажется, именно к ней призывает Алексей Голубев) на деле оборачивается радикальным отказом от взаимодействия с предшествующими теориями. Теория как *разговор*, позволяющий «объединяться в различии» (Тим Ингольд) или «выстраивать связи поверх барьеров, созданных пространством, временем и политикой» (Сергей Ушакин), похоже, невозможна в рамках этой новой модели. Ее особенность состоит в герметичности и нормативной монологичности: она не рассчитана на диалог между концепциями, авторами, текстами, а значит, не способна оживить замерший «научный разговор». Но она способна породить новое слово, понятие или образ, который привлечет внимание: цель теоретизирования в данной модели состоит не в том, чтобы объяснить или описать действительность, предложив продуктивный концепт или интерпретативную схему, а в том, чтобы произвести максимально резонансную метафору, которая вдохновит других авторов и благодаря этому на какое-то время останется в актуальном научном арсенале.

5

Рассуждая о живучести разных теорий и концепций в антропологии, участники «Форума» отмечают, что, с одной стороны, она определяется свойствами самой теории — «способностью поддерживать и стимулировать научные дискуссии и диалоги» (Алексей Голубев), ее эпистемологическим потенциалом, «интерпретационной силой» и удобством в применении (Михаил Алексеевский). Когда эти качества ослабевают, престиж и востребованность теории падает. По словам Юрия Березкина, научные теории «сходят со сцены в той мере, в какой они не являются научными», т.е. когда оказывается, что полученное с их помощью знание ошибочно. Таким образом «в поле науки происходит естественный отбор теорий, концептов, терминов, метафор и даже знаков» (Алексей Щавелев).

С другой стороны, помимо такой «естественной селекции» действуют еще социальные, политические, идеологические,

институциональные и другие факторы, которые можно было бы обозначить как «искусственные», «внешние» или «вненаучные», и зачастую именно они оказываются решающими в вопросах «жизни и смерти» теорий. Николай Крадин удивляется тому, с каким трудом завоевывают признание новые теории, продемонстрировавшие высокий научный потенциал (такие как, например, теория вождества) и как долго при этом остаются «на плаву» «устаревшие» концепции: «Какими причинами можно объяснить “живучесть” устаревшей терминологии Л. Моргана и Ф. Энгельса до наших дней?» Объяснением тому, что «разоблачение» теории вовсе не обязательно приводит к ее исчезновению и, наоборот, «способность той или иной теории производить новое знание никогда не является гарантией против ее (полу)забвения», по Алексею Голубеву, служит уже упоминавшаяся социальная функция теоретического знания. Другое объяснение может быть связано с тем, что, в отличие от точных и естественных наук, призванных к построению объяснительных моделей и законов на основе фактов, социальные и гуманитарные дисциплины больше приспособлены не к объяснению, а к пониманию и интерпретации социальной действительности, поэтому в них утрата престижа теории чаще связана не с ее опровержением под давлением фактов, а с влиянием внешних факторов и переменой научной моды (Сергей Соколовский).

Авторы реплик приводят целый ряд примеров, могущих служить иллюстрацией этого тезиса, и называют разные «внешние» факторы, влияющие на «живучесть» теорий. Так, по наблюдению Дмитрия Бондаренко, самые «живучие» те теории, которые «наиболее полно отражают общее мировоззрение своей эпохи». Сегодня такой «интеллектуальной формацией» (выражение Алексея Никишенкова) является постмодернизм, а до него был эволюционизм, более всего соответствовавший «характеру мышления западного человека того времени». Андрей Адельфинский показывает, как социальная среда и историческая ситуация могут сыграть определяющую роль в жизни теории, на примере процессуального подхода Норберта Элиаса, поначалу проигнорированного из-за неарийского происхождения автора, а позже получившего широкое признание и остающегося востребованным по сей день.

По мнению разных авторов, официальная идеология влияет на востребованность и «живучесть» теорий не только в нацистской Германии или Советском Союзе, но и в современной России, и в западной академии (Габриэла Варгас-Цетина приводит несколько свежих примеров, подтверждающих этот тезис). Среди теорий и направлений антропологии, имеющих конкретные идеологические основания, Сергей Соколовский, Ольга Хри-

стофорова, Сергей Ушакин называют постколониальные и феминистские теории, исследования травмы и инклюзии.

Примером влияния институционального фактора служит судьба теории этноса в российской антропологии: ее популярность и устойчивость, как и последующее ослабление, по мнению ряда авторов (Дмитрия Функа, Сергея Ушакина), во многом были обусловлены административным ресурсом. Помимо него (а также собственно научной аргументации), Сергей Соколовский упоминает еще один фактор, способствовавший смене взгляда на этнические феномены, — размывание консенсуса по этому поводу в российском академическом сообществе. По его наблюдению, консенсус «играет весьма важную, если не ключевую роль в смене аналитических тезаурусов и онтологий» в социальных и гуманитарных дисциплинах. Наличие или отсутствие такого консенсуса определяется, разумеется, целым рядом причин и обстоятельств, среди которых не последнюю роль играют поколения в науке. С одной стороны, фактор поколения работает на устойчивость и преемственность теорий: «то, что мы узнали и полюбили в свои чувствительные юные годы, остается с нами навсегда» и затем передается ученикам (Ольга Христофорова). С другой стороны, смена поколений способствует изменению парадигм, теорий, языков и стилей мышления.

* * *

Мы намеренно воздержались от обобщения ответов на четвертый вопрос, представляющих собой ценную россыпь индивидуальных опытов и стратегий обращения с теориями: их отбора, комбинации и трансформации. Здесь мы находим и довольно подробное представление собственной теории движения от Татьяны Щепанской, и увлекательную метафору теории как охотничьего оружия от Михаила Алексеевского, и ценные описания теоретического ландшафта во французской антропологии от Филиппа Пестея, и множество автобиографических сюжетов. Нам показалось, что обобщать эти ответы нет смысла, они ценны и полезны именно в «индивидуальной упаковке», как экспликация личного опыта, а не изложение взглядов на проблемы теории.

Единственное, о чем, пожалуй, нельзя не сказать: оказалось, что почти каждый ответивший в том или ином виде создает в ходе исследования собственную теорию. Кто-то делает это сознательно и постоянно, кто-то скорее вынужденно и лишь в особых случаях, но такая «опция» существует в арсенале практически всех участников «Форума». О чем это говорит? Возможно, о новой норме, настойчиво требующей производства новых концепций, о которой пишет Екатерина Мельникова, а возможно,

о несовершенстве наличного теоретического арсенала, заставляющем каждый раз изобретать собственный инструмент. Наверное, психолог мог бы усмотреть здесь что-то вроде патологической зависимости, при которой насущная потребность каждый раз не удовлетворяется в полной мере. Как пишет Татьяна Щепанская, «[а]ктивное обсуждение теоретических проблем свидетельствует о потребности в теории — и в то же время о неготовности вместить накопленные знания в рамки теоретических схем». Как бы то ни было, готовность (или привычка) к теоретизированию показывает, что по крайней мере частью научного сообщества оно воспринимается как сфера живого творчества, а не (только) ритуальной риторики. Теория, вопреки хрестоматийной цитате, предстает не «сухой», а, напротив, живой и динамичной сферой: она держит в тонусе, стимулирует рефлексию, остается проблемой и предметом для дискуссии.

Поэтому неудивительно, что среди коллег нет единства по обсуждаемым вопросам. Как мы уже не раз отмечали, присланные ответы демонстрируют довольно разные, порой противоположные взгляды как на конкретные теоретические концепции, так и в целом на роль теории и смысл теоретизирования в антропологии. С определенной степенью условности можно предложить следующую «бинарную оппозицию»: авторы, высказывающие озабоченность границами дисциплины, склонны к поиску также «большой» антропологической теории, тогда как приветствующие «балканизацию» и расширение предметного поля антропологии не испытывают и озабоченности в связи с эклектичностью ее теоретического багажа, заимствованного из других сфер знания. Выскажем предположение, что эти два лагеря (назовем их условно «пуристами» и «эклектиками») могут относить себя к двум разным антропологиям, выделяемым Юрием Березкиным: той, что исследует возникновение и развитие социума и культуры («традиционный» предмет антропологии), и той, что изучает «механизмы функционирования сообществ» или — шире — практически все социокультурные феномены современности.

Тем заметнее эпизоды, показывающие, что участники «Форума» все же находятся в общем интеллектуальном пространстве: они ссылаются, дополняют друг друга, а иногда и вступают в заочную полемику. Татьяна Щепанская как будто разворачивает мысль Алексея Щавелева о встроенности теории в описание, Ольга Артемова и Дмитрий Баранов «спорят» с Сергеем Соколовским (хотя и с разных позиций) по поводу перспектив постантропоцентризма, Алексей Голубев словно отвечает на недоумение Николая Крадина о «живучести» устаревших концепций, история Сергея Ушакина об изменении теоретических

рамок под воздействием поля «повторяется» в свернутом виде в рассказе Игоря Кузнецова о такой же метаморфозе у его ученицы, а воспоминание Ольги Христофоровой о том, как она чуть не «изобрела велосипед», кажется, иллюстрирует тезис Екатерины Мельниковой о «грехе вторичности». Все эти неумышленные пересечения, конечно, нельзя считать «научным разговором» (строго говоря, формат «Форума» и подразумевает не обсуждения реплик друг друга, а лишь представление индивидуальных реплик), но они показывают, что при всех различиях в языке, взглядах и методах такой разговор между антропологами вполне возможен. Хотя бы чисто *теоретически*.

Сергей Алымов, Павел Куприянов

Forum 64: Anthropological Theories for the Twenty-First Century: A Road Map

Sergey Abashin

European University at St Petersburg
6/1A Gagarinskaya Str., St Petersburg, Russia
sabashin@eu.spb.ru

Andrey Adelfinskiy

Bauman Moscow State Technical University
5, Bld. 1 Baumanskaya Str., Moscow, Russia
adelfi@mail.ru

Mikhail Alekseevskiy

Strelka-KB
14s5a Bersenevskaya Emb., Moscow, Russia
alekseevsky@yandex.ru

Sergey Alymov

Institute of Ethnology and Anthropology, RAS
32A Leninskiy Ave., Moscow, Russia
alymovs@mail.ru

Olga Artemova

Institute of Ethnology and Anthropology, RAS
32A Leninskiy Ave., Moscow, Russia
artemova.olga@list.ru

Varvara Bakholdina

Lomonosov Moscow State University
1, Bld. 12 Leninskie gory, Moscow, Russia
vbaholdina@mail.ru

Dmitriy Baranov

Russian Ethnographic Museum
4/1 Inzhenernaya Str., St Petersburg, Russia
European University at St Petersburg
6/1A Gagarinskaya Str., St Petersburg, Russia
dmitry.baranov@list.ru

Yuri Berezkin

Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera), RAS
3 Universitetskaya Emb., St Petersburg, Russia
European University at St Petersburg
6/1A Gagarinskaya Str., St Petersburg, Russia
berezkin1@gmail.com

Dmitriy Bondarenko

Institute of Oriental Studies, RAS
12 Rozhdestvenka Str., Moscow, Russia
dmitrimb@mail.ru

Dmitriy Funk

Moscow State University of Linguistics
38, Bld. 1 Ostozhenka Str., Moscow, Russia
d_funk@iea.ras.ru

Aleksey Golubev

University of Houston
3553 Cullen Blvd, Houston, TX, USA
golubevalexei@gmail.com

Tim Ingold

University of Aberdeen
53 College Bounds, Aberdeen, UK (Scotland)
tim.ingold@abdn.ac.uk

Olga Khristoforova

Russian State University for Humanities
6 Miusskaya Sq., Moscow, Russia
Presidential Academy
82, Bld. 1 Vernadskogo Ave., Moscow, Russia
okhrist@yandex.ru

Nikolay Kradin

Institute of History, Archeology and Ethnography of the Peoples of the Far East, RAS,
Far East Department
89 Pushkinskaya Str., Vladivostok, Russia
kradin@mail.ru

Pavel Kupriyanov

Institute of Ethnology and Anthropology, RAS
32A Leninskiy Ave., Moscow, Russia
kupriyanov-ps@yandex.ru

Igor Kuznetsov

Institute of Linguistics, RAS
1, Bld. 1 Bolshoy Kislovskiy Lane, Moscow, Russia
igorkuznet@gmail.com

Ekaterina Melnikova

European University at St Petersburg
6/1A Gagarinskaya Str., St Petersburg, Russia
melek@eu.spb.ru

Serguei Oushakine

Princeton University
116 Aaron Burr Hall, Princeton, NJ, USA
oushakine@princeton.edu

Philippe Pesteil

Université de Bretagne Occidentale
3 rue des Archives, Brest, France
philippe.pesteil@univ-brest.fr

Aleksey Shchavelev

Institute of World History, RAS
32A Leninskiy Ave., Moscow, Russia
alexissorel@gmail.com

Tatyana Shchepanskaya

Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera), RAS
3 Universitetskaya Emb., St Petersburg, Russia
poehaly@narod.ru

Sergey Sokolovskiy

Institute of Ethnology and Anthropology, RAS
32A Leninskiy Ave., Moscow, Russia
SokolovskiSerg@gmail.com

Andrey Tutorskiy

Lomonosov Moscow State University
1, Bld. 12 Leninskie gory, Moscow, Russia
tutorski@mail.ru

Gabriela Vargas-Cetina

Autonomous University of Yucatan
491A Parque Santa Lucia, Centro, Mérida, Yucatan, Mexico
gabriela.vargas@correo.uady.mx

This “Forum” considers attitudes towards theories and theoretical knowledge among ethnologists and anthropologists. Answering questions from the forum organisers, its participants discuss the need for a common “grand theory” that would unite the entire anthropological community, the tense relationship between theory and description, the causes, manifestations and effects of theory fatigue — and also the need for it, its shortage — and overproduction. The most promising theoretical concepts are noted in the responses (in particular, different opinions are given on the post-anthropocentric vector in humanitarian studies). The authors discuss the extent to which the “vitality” of theories depends on external and internal factors, share their personal experience and strategies for dealing with theories: their selection, combination, transformation and production. The responses of the participants reveal significant differences in approaches to understanding the essence and functions of theory in anthropology. In part, these differences are due to the different understanding of the subject of anthropology by the participants (as the history of the emergence of culture and society — or of their functioning). An important issue of the “Forum” is the (im)possibility of theory’s becoming a space for common conversation in anthropology. Hopes for the realization of this possibility are associated with overcoming the subject-object paradigm, and the obstacle to it is the generative model of theorising, which prescribes not working with existing concepts, but generating new ones.

Keywords: theories, theoretical constructions, paradigms, concepts, grand theories, ethnology, ethnography, anthropology.

References

- Adelfinsky A. S., *Nazlo rekordam: opyt issledovaniya massovogo sporta* [Despite the Records: An Inquiry into Mass Participation Sports]. Moscow: Delo RANEPa, 2018, 384 pp. (In Russian).
- Adelfinsky A. S., ‘Of Iron Men and the Beer: Democratization and Commercialization in the Triathlon History’, *The International Journal of the History of Sport*, 2023, vol. 40, no. 12, pp. 1120–1139. doi: 10.1080/09523367.2023.2289544.
- Amit V., Anderson S., Caputo V., Postill J., Reed-Danahay D., Vargas-Cetina G., ‘Thinking through Sociality: The Importance of Mid-level Concepts’, Vered A. (ed.), *Thinking through Sociality: An Anthropological Interrogation of Key Concepts*. New York; Oxford: Berghahn, 2015, pp. 1–20.
- Anderson B., *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London; New York: Verso, 1983, 256 pp.
- Angelbeck B., Grier C., ‘Anarchism and the Archaeology of Anarchic Societies: Resistance to Centralization in the Coast Salish Region of the Pacific Northwest Coast’, *Current Anthropology*, 2012, vol. 53, no. 5, pp. 547–587.
- Appadurai A. (ed.), *The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986, 329 pp.

- Arhem K., 'The Cosmic Food Web: Human-Nature Relatedness in the North-west Amazon', Descola P., Palsson G. (eds.), *Nature and Society: Anthropological Perspectives*. London: Routledge, 1996, pp. 185–204.
- Arhem N., *In the Sacred Forest: Landscape, Livelihood and Spirit Beliefs among the Katu of Vietnam*. Göteborg: Göteborg University, 2009, X+206 pp. (SANS, Papers in Social Anthropology).
- Arvatov B., 'Byt i kultura veshchi' [Life and Culture of the Thing], *Almanakh Proletkulta*. Moscow: Vserossiyskiy proletkult, 1925, pp. 75–82. (In Russian).
- Arzyutov D., Alymov S., Anderson D. (eds.), *Ot klassikov k marksizmu: soveshchanie etnografov Moskvy i Leningrada (5–11 aprelya 1929 g.)* [From Classics to Marxism: The Meeting of Ethnographers from Moscow and Leningrad (5–11 April 1929)]. St Petersburg: Kunstkamera, 2014, 509 pp. (In Russian).
- Ayora-Diaz S. I., *Foodscapes, Foodfields, and Identities in Yucatán*. Oxford; New York: Berghahn, 2012, 311 pp.
- Baiburin A. K., 'Semioticheskiy status veshhey i mifologiya' [Semiotic Status of Things and Mythology], *Materialnaya kultura i mifologiya*: A coll. of articles of MAE RAS. Leningrad: Nauka, 1981, vol. 37, pp. 215–226. (In Russian).
- Baiburin A., 'The Functions of Things', *Ethnologia Europaea*, 1997, no. 27, pp. 3–14.
- Barth F. (ed.), *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Cultural Change*. Boston: Little, Brown & Co., 1969, 153 pp.
- Berger L., 'L'oeuvre de Maurice Godelier, au delà du structuralisme et du marxisme, aux côtés de Claude Levi-Strauss et de Karl Marx', Jeudy-Ballini M. (dir.), *Le Monde en mélanges*. Paris: Ed. CNRS, 2019, pp. 64–94.
- Berlin B., Kay P., *Basic Color Terms*. Los Angeles, CA: University of California Press, 1969, 178 pp.
- Bernal J. D., *The Social Function of Science*. London: G. Routledge & Sons LTD, 1939, 482 pp.
- Bernard R. H., *Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches*, 5th ed. Plymouth: AltaMira Press, 2011, XIII+666 pp.
- Bettinger R. L., *Orderly Anarchy: Sociopolitical Evolution in Aboriginal California*. Berkeley, CA: University of California Press, 2015, 312 pp.
- Bgazhnokov B. Kh., 'Osnovaniya gumanisticheskoy etnologii' [Foundations of Humanistic Ethnology], *Etnograficheskoe obozrenie*, 2000, no. 6, pp. 15–29. (In Russian).
- Bhabha H., *The Location of Culture*. London; New York: Routledge, 1994, 440 pp.
- Bisenova A. (ed.), *Qazaqstan, Kazakhstan, قازاقستان: Labirinty sovremennogo postkolonialnogo diskursa* [Qazaqstan, Kazakhstan, قازاقستان: Labyrinths of Modern Postcolonial Discourse]. Almaty: Tselinnyy, 2023, 467 pp. (In Russian).
- Bisenova A., Mukasheva A., 'Kolonialnye intellektualy: mezhdu prosveshchencheskoy i predstavitselskoy rolyu' [Colonial Intellectuals: Between Enlightenment and Representative Roles], *Novoe literaturnoe obozrenie*, 2020, no. 6, pp. 445–459. (In Russian).

- Bloom H., *The Anxiety of Influence*. New York: Oxford University Press, 1997 (1st ed. 1973), XLVII+157 pp.
- Bourdieu P., *Homo Academicus*. Stanford, CA: Stanford University Press, 1988, 344 pp.
- Braidotti R., *The Posthuman*. Cambridge: Polity Press, 2013, VI+229 pp.
- Bromley Yu. V., *Etnos i etnografiya* [Ethnos and Ethnography]. Moscow: Nauka, 1973, 283 pp. (In Russian).
- Bromley Yu. V., *Ocherki teorii etnosa* [Essays on the Theory of Ethnos]. Moscow: Nauka, 1983, 412 pp. (In Russian).
- Brubaker R., Cooper F., 'Beyond "Identity"', *Theory and Society*, 2000, vol. 29, no. 1, pp. 1–47.
- Butler J., *Bodies That Matter: On the Discursive Limits of "Sex"*. London: Routledge, 1993, 288 pp.
- Canclini N. G., *Hybrid Cultures: Strategies for Entering and Leaving Modernity*. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1995, 328 pp.
- Chakrabarti P., *Medicine and Empire: 1600–1960*. London: Bloomsbury Publishing, 2013, 246 pp.
- Chakrabarty D., *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000, 301 pp.
- Cirese A. M., 'Du jeu d'Ozieri au numerus clausus des Bienheureux de Dante: Essai d'une typologie idéologique', *l'Homme*, 1995, no. 136, pp. 95–112.
- Clemente P., 'Les anthropologues italiens et l'Italie', *Terrain*, 1989, no. 12, pp. 101–109.
- Clifford J., *Malaise dans la culture*. Paris: ENSA, 1996, 389 pp.
- Cohen K., 'Human Behavior and New Mobility Trends in the United States, Europe, and China', *Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM)*, 2019, Working Paper No. 024.2019, 43 pp.
- Collins R., *The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change*. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1998, 1098 pp.
- Copans J., Adell N., *Introduction à l'ethnologie et à l'anthropologie*. Paris: Cursum / Armand Colin, 2019, 256 pp.
- Daly A., 'Movement Analysis: Piecing Together the Puzzle', *TDR (1988-)*, 1988, vol. 32, no. 4, pp. 40–52.
- Darmangeat Ch., 'Philippe Descola, Bruno Latour et Ramsès II', *La Hutte des Classes*, 2022, Nov. 1. <<https://www.lahuttedesclasses.net/2022/11/philippe-descola-bruno-latour-et-ramses.html>>.
- Darnell R., 'A Critical Paradigm for the Histories of Anthropology. The Generalization of Transportable Knowledge', *Bérose — Encyclopédie internationale des histoires de l'anthropologie*. Paris: S. n. 2022. <<https://www.berose.fr/article2718.html?lang=fr>>.
- de Certeau M., *L'Invention du Quotidien*. Paris: Union générale d'éditions, 1980, vol. 1, *Arts de Faire*, 347 pp.
- Dennett D. C., *Consciousness Explained*. New York; Boston; London: Black Bay Books, 1991, 511 pp.

- Derlugyan G. M., *Kak ustroen etot mir? Nabroski na makrosotsiologicheskie temy* [How Does This World Work? Sketches on Macrosociological Topics]. Moscow: Gaidar Institute Press, 2013, 376 pp. (In Russian).
- Descola Ph., *Par-delà nature et culture*. Paris: Gallimard, 2005, 618 pp.
- Descola Ph., 'J.-P. Digard', *L'Homme*, 2006, no. 177–178, pp. 413–443.
- Dorsey A., Collier R., *Origins of Sociological Theory*. London: ED-tech Press, 2018, 384 pp.
- Dudko O., 'Gate-Crashing "European" and "Slavic" Area Studies: Can Ukrainian Studies Transform the Fields?', *Canadian Slavonic Papers*, 2023, vol. 65, no. 2, pp. 174–189. doi: 10.1080/00085006.2023.2202565.
- Dundes A., 'Earth-diver: Creation of the Mythopoeic Male', *American Anthropologist*, 1962, vol. 64, no. 5, part 1, pp. 1032–1051.
- Dunning E., Hughes J., *Norbert Elias and Modern Sociology: Knowledge, Interdependence, Power, Process*. London: Bloomsbury, 2013, 256 pp.
- Dupré M.-Cl., 'La transcendance de la courgette, ou les dieux nécessaires', *L'Homme*, [En ligne], 2002, no. 163, pp. 235–244.
- Earle T., *A Primer on Chiefs and Chiefdoms*. New York: EWP, 2021, 168 pp.
- Economist Intelligence Unit, 'Democracy Index: Conflict and Polarisation Drive a New Low for Global Democracy', *Economic Intelligence*, 2024, 15 Feb. <<https://www.eiu.com/n/democracy-index-conflict-and-polarisation-drive-a-new-low-for-global-democracy/>>.
- Edwards M. A., Roy S., 'Academic Research in the 21st Century: Maintaining Scientific Integrity in a Climate of Perverse Incentives and Hypercompetition', *Environmental Engineering Science*, 2017, vol. 34, no. 1, pp. 51–61.
- Egré P., 'Sciences cognitives', Monod J.-Cl. (dir.), *Dictionnaire Lévi-Strauss*. Paris: Bouquins, 2022, pp. 939–944.
- Ellen R., 'Theories in Anthropology and "Anthropological Theory"', *The Journal of the Royal Anthropological Institute*, 2010, vol. 16, no. 2, pp. 387–404. doi: 10.1111/j.1467-9655.2010.01631.x.
- Evans-Pritchard E. E., *Anthropology and History: A Lecture*. Manchester: Manchester University Press, 1961, 22 pp.
- Fabian J., 'With So Much Critique and Reflection Around, Who Needs Theory?', *Annals of Scholarship*, 1991, vol. 8, pp. 381–408.
- Fleck L., *Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv*. Basel: Benno Schwabe & Co., 1935, 190 S.
- Formozov A. A., *Russkie arkheologi v period totalitarizma: istoriograficheskie ocherki* [Russian Archaeologists in the Period of Totalitarianism: Historiographic Sketches]. Moscow: Znack, 2004, 320 pp. (In Russian).
- 'Forum: Cultural Anthropology: The State of the Field', *Forum for Anthropology and Culture*, 2004, no. 1, pp. 10–106.
- 'Forum 62: Lyudi i drugie zhivye sushchestva' [Forum 62: Humans and Other Species], *Antropologicheskij forum*, 2024, no. 62, pp. 11–224. doi: 10.31250/1815-8870-2024-20-62-11-224.
- Foucault M., 'De l'amitié comme mode de vie (entretien avec R. De Ceccaty, J. Danet, J. Le Bijoux)', Foucault M., *Dits et écrits*, 1981, texte no. 293, pp. 38–39.

- Fowles S., 'The Perfect Subject (Postcolonial Object Studies)', *Journal of Material Culture*, 2016, vol. 21, no. 1, pp. 9–27.
- Gapova E., 'Klassovyy vopros postsovetskogo feminizma, ili Ob otvlechenii ugnetennykh ot revolyutsionnoy borby' [The Class Question of Post-Soviet Feminism, or On Distracting the Oppressed from Revolutionary Struggle], *Gendernye issledovaniya*, 2006, no. 15, pp. 144–164. (In Russian).
- Gastev A., *Kak nado rabotat: prakticheskoe vvedenie v nauku organizatsii truda* [How to Work: A Practical Introduction to the Science of Labor Organization], 2nd ed. Moscow: Ekonomika, 1972, 243 pp. (In Russian).
- Gauchet M., Swain G., *La pratique de l'esprit humain: l'institution asilaire et la révolution démocratique*. Paris: Gallimard, 2009, 528 pp.
- Geertz C., *Savoir local, savoir global; Les lieux du savoir*. Paris: PUF, 2012, 354 pp.
- Geertz C., *Local Knowledge, Further Essays in Interpretive Anthropology*. New York: Basic Books, 1983, VII+244 pp.
- Gell A., *Art and Agency: An Anthropological Theory*. Oxford: Clarendon Press, 1998, 271 pp.
- Ginzburg M., 'Tselevaya ustanovka v sovremennoy arkhitekture' [The Purposeful Approach in Modern Architecture], *Sovremennaya arkhitektura*, 1927, no. 1, pp. 4–10. (In Russian).
- Gladarev B., 'Istoriko-kulturnoe nasledie Peterburga: rozhdenie obshchestvennosti iz dukha goroda' [St Petersburg Historical and Cultural Heritage: The Birth of the Public from the Spirit of the City], *Ot obshchestvennogo k publichnomu* [From Social to Public]. St Petersburg: EUSP Press, 2011, pp. 71–304. (In Russian).
- Glaser B., Strauss A., *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. Chicago, IL: Aldine, 1967, X+271 pp.
- Glazer N., Moynihan D. (eds.), *Ethnicity: Theory and Experience*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1975, IX+531 pp.
- Golovnev A. V., *Antropologiya dvizheniya (drevnosti Severnoy Evrazii)* [Anthropology of Movement (Antiquities of Northern Eurasia)]. Yekaterinburg: Ural Department of RAS Press; Volot, 2009, 496 pp. (In Russian).
- Golubev A., *Veshchnaya zhizn: materialnost pozdnego sotsializma* [The Life of Things: The Materiality of Late Socialism]. Moscow: NLO, 2022, 326 pp. (In Russian).
- Golubev A., 'No Natural Colonization: The Early Soviet School of Historical Anti-Colonialism', *Canadian Slavonic Papers*, 2023, vol. 65, no. 2, pp. 190–204. doi: 10.1080/00085006.2023.2199556.
- Goody J., *The Logic of Writing and the Organization of Society*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, 213 pp.
- Goody J., *The Power of the Written Tradition*. Washington, D.C.; London: Smithsonian Institution Press, 2000, VIII+192 pp.
- Gribovski V. V., 'Kontseptsiya volshebnoy skazki V. Ya. Proppa i problema istorisma nogayskogo eposa' [Conception of the Fairytale of Vladimir Propp and the Problem of Relation to History of the Noghai Epics], *Nogaitsy: XXI vek. Istoriya. Yazyk. Kultura. Ot istokov k gryadushchemu* [Noghais: XXI Century. History. Language. Culture. From Source to

- the Future]: Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference. Cherkessk, 2019, Oct. 2–3. Cherkessk: Karachayevo-Cherkess Institute for the Humanities Press, 2019, pp. 7–21. (In Russian).
- Grinin L. E., Markov A. V., Korotaev A. V., *Makroevolyutsiya v zhivoy prirode i obshchestve* [Macroevolution in Nature and Society]. Moscow: LKI Press, 2008, 248 pp. (In Russian).
- Guille-Escuret G., 'L'enfant, la race et la hiérarchie', *L'Homme*, 2000, no. 153, pp. 291–298.
- Guille-Escuret G., *L'écologie kidnappée*. Paris: PUF, 2014, 360 pp.
- Górnicka B., Liston K., Mennell S., 'Twenty-five Years On: Norbert Elias's Intellectual Legacy 1990–2015', *Human Figurations*, 2015, vol. 4, no. 3. <<http://hdl.handle.net/2027/spo.11217607.0004.303>>.
- Harman G., 'O zameshchayushchey prichinnosti' [On Vicarious Causation], *Novoe literaturnoe obozrenie*, 2012, no. 2 (114), pp. 75–90. (In Russian).
- Hayden C., *When Nature Goes Public: The Making and Unmaking of Bioprospecting in Mexico*. Princeton, NJ; Oxford: Princeton University Press, 2003, 312 pp.
- Helmreich S., *Alien Ocean: Anthropological Voyages in Microbial Seas*. Berkeley, CA: University of California Press, 2009, 375 pp.
- Hicks D., 'The Material-Cultural Turn: Event and Effect', Hicks D., Beaudry M. C. (eds.), *The Oxford Handbook of Material Culture Studies*. Oxford: Oxford University Press, 2010, pp. 25–98.
- Holbraad M., 'Contre la motion: les ontologies, une manière autre de concevoir la différence', Rozenberg G. (dir.), *La culture en question, Les carnets de Berlose*, 2020, no. 13, pp. 267–274.
- Holt F. L., *When Money Talks: A History of Coins and Numismatics*. Oxford: Oxford University Press, 2021, 272 pp.
- Hutchins E., *Cognition in the Wild*. Cambridge, MA: The MIT Press, 1995, 402 pp.
- Iandolo A., *Arrested Development: The Soviet Union in Ghana, Guinea, and Mali, 1955–1968*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2022, 312 pp.
- Ingold T., *Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description*. New York: Routledge, 2011, 358 pp.
- Ingold T., 'Movement, Knowledge and Description', Parkin D., Uliaszek S. (eds.), *Holistic Anthropology: Emergence and Convergence*. New York; Oxford: Berghahn Books, 2011, pp. 194–211.
- Ingold T., *Lines: A Brief History*. London; New York: Routledge, 2016, 208 pp.
- Ironside K., *A Full-Value Ruble: The Promise of Prosperity in the Postwar Soviet Union*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2021, 320 pp.
- Jamard J.-L., *Anthropologies françaises en perspective; Presque-Sciences et autres histoires*. Paris: Kimé, 1993, 283 pp.
- Johnson A., Earle T., *The Evolution of Human Societies: From Foraging Group to Agrarian State*. Stanford, CA: Stanford University Press, 1987, 360 pp.
- Juárez Huet N. B., *Dos narizones no se pueden besar: Trayectorias, usos y prácticas de la tradición orisha en Yucatán*. Mérida: Universidad Nacional Autónoma de México and Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2019, 230 pp.

- Kahn H., *Thinking about the Unthinkable*. New York: Horizon Press, 1962, 254 pp.
- Karaseva A., 'Razomknutaya modernost: kommunalnaya avariya v sensornom landshafte severnogo poselka gorodskogo tipa' [Modernity Unplugged: The Failure of Public Utilities in the Sensory Landscape of the Northern-Town], *Antropologicheskij forum*, 2018, no. 38, pp. 122–146. (In Russian).
- Karpova Yu., *Comradely Objects: Design and Material Culture in Soviet Russia, 1960s–80s*. Manchester: Manchester University Press, 2020, 232 pp.
- Kasavin I. T., 'Sotsialnaya epistemologiya: ponyatie i problemy' [Social Epistemology: Concept and Problems], *Epistemology & Philosophy of Science*, 2006, vol. 7, no. 1, pp. 5–15. (In Russian).
- Keck M. E., Sikkink K., *Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1998, 228 pp.
- Kerttula A., *Antler on the Sea: The Yupik and Chukchi of the Russian Far East*. Ithaca, NY; London: Cornell University Press, 2000, 180 pp.
- Khristoforova O. B., 'Simvolicheskaya interpretatsiya sotsialnogo diskursa (rasskazy o derevenskikh koldunakh)' [Symbolic Interpretation of Social Discourse: Stories about Village Sorcerers], Kormina J. V., Panchenko A. A., Shtyrkov S. A. (eds.), *Sny Bogoroditsy: issledovaniya po antropologii religii* [Dreams of the Mother of God: Studies on the Anthropology of Religion]. St Petersburg: EUSP Press, 2006, pp. 184–202. (In Russian).
- Khristoforova O. B., 'Neskazochnaya proza i simvolicheskaya stratifikatsiya sotsialnogo prostranstva' [Unfair Tales and Symbolical Stratification of Social Space], *Vestnik RGGU, series: Filologicheskie nauki. Literaturovedenie i folkloristika*, 2009, no. 9, pp. 138–158. (In Russian).
- Khristoforova O. B., *Kolduny i zherty: antropologiya koldovstva v sovremennoy Rossii* [Witches and Victims: Anthropology of Witchcraft in Present-day Russia]. Moscow: RSUH Press; OGI, 2010, 432 pp. (Natsiya i kultura / Antropologiya / Folklor: Novye issledovaniya [Nation and Culture / Anthropology / Folklore: New Research]). (In Russian).
- Kiaer C., *Imagine No Possessions: The Socialist Objects of Russian Constructivism*. Cambridge, MA: MIT Press, 2008, 326 pp.
- Klejn L. S., *Printsipy arkheologii* [Principles of Archaeology]. St Peterburg: Belveder, 2001, 152 pp. (In Russian).
- Kohn E., *How Forests Think: Toward an Anthropology beyond the Human*. Los Angeles, CA: University of California Press, 2013, 288 pp.
- Kradin N. N., 'Antropologiya i medievistika. Politantropologicheskie perspektivy v izuchenii medievistiki' [Anthropology and Medieval Studies. Political Anthropology Perspectives in the Medieval Studies], *Universitas historiae: A coll. of articles in honor of P. Yu. Uvarov*. Moscow: IVI RAS Press, 2016, pp. 557–565. (In Russian).
- Kradin N. N., *Proiskhozhdenie neravenstva, tsivilizatsii i gosudarstva* [Origin of Inequality, Civilization and the State]. St Peterburg: Abyshko Publications, 2021, 335 pp. (In Russian).
- Kristiansen K., 'Towards a New Paradigm? The Third Science Revolution and Its Possible Consequences in Archaeology', *Current Swedish Archeology*, 2014, vol. 22, pp. 11–71. doi: 10.37718/CSA.2014.01.

- Kristiansen K., 'Towards a New Prehistory: Re-Theorizing Genes, Culture, and Migratory Expansions', Daniels M. (eds.), *Homo Migrans: Modeling Mobility and Migration in Human History*. Albany: SUNY-Press, 2018, pp. 31–54. (IEMA Distinguished Monograph Series).
- Kubota S., 'From Applied Anthropology to an Anthropology of Engagement: Japanese Anthropology and Australianist Studies', Musharbash Y., Barber M. (eds.), *Ethnography and the Production of Anthropological Knowledge: Essays in Honour of Nicolas Peterson*. Canberra: ANU Press, 2011, pp. 123–132.
- Kuhn T., *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago, IL: The University of Chicago Press, 1962, XIV+212 pp.
- Labrecque M. F., *La migration saisonnière des mayas du Yucatán au Canada: La dialectique de la mobilité*. Québec: Presses de l'Université Laval, 2015, 458 pp.
- Lacy N. J., 'Medieval McGuffins: The Arthurian Model', *Arthuriana*, 2005, vol. 15, no. 4, pp. 53–64.
- Lakatos I., *Histoire et méthodologie des sciences: programmes de recherche et reconstruction rationnelle*. Paris, PUF, 1994, 268 pp.
- Lamont M., *How Professors Think: Inside the Curious World of Academic Judgment*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009, 336 pp.
- Latimer J. E., Strathern M., 'A Conversation with Marilyn Strathern about Intimacy and Entanglement', *The Sociological Review*, 2019, vol. 67, no. 2, pp. 481–496. doi: 10.1177/0038026119832424.
- Latour B., *Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers through Society*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987, VIII+274 pp.
- Latour B., *We Have Never Been Modern*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1993, 168 pp.
- Latour B., *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*. Oxford: Oxford University Press, 2005, 301 pp.
- Latour B., *Chroniques d'un amateur de sciences*. Paris: Presse des Mines, 2006, pp. 51–53.
- Latour B., Woolgar S., *Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts*. Beverley Hills, CA: Sage, 1979, 271 pp.
- Law J., *After Method: Mess in Science Research*. New York: Routledge, 2004, 200 pp.
- Lee R. E., 'Lessons of the Longue Durée: The Legacy of Fernand Braudel', *Historia Crítica*, 2018, no. 69, pp. 66–77. doi.: 10.7440/histcrit69.2018.04.
- Lem S., *Absolyutnaja pustota* [Absolute Emptiness]. Moscow: AST, 2003, 288 pp. (In Russian).
- Lenaerts M., 'Ontologie animique, ethnosciences et universalisme cognitif', *L'Homme*, 2006, no. 179, pp. 113–139.
- Lenin V., *O natsionalnom voprose i natsionalnoy politike* [On the National Question and National Policy], ed. by E. V. Tadevosyan. Moscow: Politizdat, 1989, 556 pp. (In Russian).
- Levi-Strauss C., *La pensée sauvage*. Paris: Plon, 1962, 395 pp.
- Lewellen T., *Political Anthropology: An Introduction*. Westport; London: Praeger, 2003, 276 pp.
- L'Homme*, *Anthropologie, État des lieux*, 1986, no. 97–98, 411 pp.
- Lorenz K., *On Aggression*. New York: Harcourt, Brace and World, 1966, 328 pp.

- Low S., *Spatializing Culture: The Ethnography of Space and Place*. London: Routledge, 2017, 276 pp.
- Lyotard J.-F., *La Condition postmoderne: rapport sur le savoir*. Paris: Les Editions de Minuit, 1979, 128 pp.
- Manning E., Massumi B., *Thought in the Act: Passages in the Ecology of Experience*. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 2014, 224 pp. doi: 10.14318/hau7.1.006.
- Martin K., Flynn A., 'Anthropological Theory and Engagement: A Zero-Sum Game?', *Anthropology Today*, 2015, vol. 31, no. 1, pp. 12–14. doi: 10.1111/1467-8322.12153.
- Mbembe A., *Necropolitics*. London; Durham, NC: Duke University Press, 2019, 213 pp.
- Meletinski E. M., *Proiskhozhdeniye geroicheskogo eposa: ranniye formy i arkhaiskiye pamyatniki* [The Origin of the Heroic Epics: Early Forms and Archaic Monuments]. Moscow: Izdatelstvo vostochnoy literatury, 1963, 462 pp. (In Russian).
- Meletinski E. M., 'Ob arkhetype intesta v folklornoy traditsii (osobennno v geroicheskom mife)' [On the Archetype of Incest in Folklore Tradition (in Particular, in the Heroic Myth)], *Folklor i etnografiya. U etnograficheskikh istokov folklornykh syuzhetov i obrazov* [Folklore and Ethnography. At the Ethnographic Sources of Plots and Images]. Leningrad: Nauka, 1984, pp. 57–62. (In Russian).
- Meletinski E. M., 'Analiticheskaya psikhologiya i problema proiskhozhdeniya arkhетipicheskikh syuzhetov' [Analytical Psychology and the Problem of the Origin of the Archetypal Plots], *Voprosy filosofii*, 1991, no. 10, pp. 41–47. (In Russian).
- Meletinski E. M., 'Zhenitba v volshebnoy skazke (ee funktsiya i mesto v syuzhetnoy strukture)' [Marriage in the Fairytale (Its Function and Place in Plot Structure)], Meletinski E. M., *Izbrannyye statyi: vospomonaniya* [Selected Articles: Memories]. Moscow: Russian State University of Humanities Press, 1998, pp. 305–317. (In Russian).
- Merton R., 'The Matthew Effect in Science', *Science*, 1968, vol. 159, no. 3810, pp. 56–63.
- Mesoudi A., *Cultural Evolution: How Darwinian Theory Can Explain Human Culture and Synthesize the Social Sciences*. Chicago, IL: University of Chicago Press, 2011, 264 pp.
- Miller D., *Material Culture and Mass Consumption*. Oxford: Blackwell, 1987, 256 pp.
- Miller D., 'Materiality: An Introduction', Miller D. (ed.), *Materiality*. Durham, NC: Duke University Press, 2005, pp. 1–50.
- Miller D., 'Anthropology Is the Discipline but the Goal Is Ethnography', *HAU: Journal of Ethnographic Theory*, 2017, vol. 7, no. 1, pp. 27–31.
- Mistry E., 'Standoff after New Leader Imposed on Mexican Economics Institute', *The Times Higher Education*, 2021, 14 Dec. <<https://www.timeshighereducation.com/news/standoff-after-new-leader-imposed-mexican-economics-institute>>.
- Mogilner M., 'Rasa v Rossii kak figura umolchaniya' [Race in Russia as a Figure of Silence], *Novoe literaturnoe obozrenie*, 2022, no. 6, pp. 220–234. (In Russian).

- Navaro-Yashin Y., *The Make-Believe Space: Affective Geography in a Postwar Polity*. Durham, NC: Duke University Press, 2012, 296 pp.
- Neklyudov S. Yu., 'Vladimir Propp: ot "morfologii" k "istorii" (k 75-letiyu opublikovaniya "Istoricheskikh korney volshebnoy skazki")' [Vladimir Propp: from "Morphology" to "History" (in Honor of the 75th Anniversary of the First Edition of the "Historical Roots of the Wonder-tale")], *Novyy filologicheskii vestnik*, 2021, no. 2 (57), pp. 100–132. (In Russian).
- Nikishenkov A. A., 'Rech Aleksey Alekseevicha Nikishenkova, proiznesennaya na 70-letie kafedry etnologii istoricheskogo fakulteta MGU (dekabr 2009)' [The Speech Declaimed by A. A. Nikishenkov on the Seventieth Anniversary of the Department of Ethnology, the Faculty of History, Lomonosov MSU (December 2009)], *History Studies*, 2016, no. 4, pp. 8–12. <<http://www.historystudies.msu.ru/ojs2/index.php/ISIS/article/view/59/150>>. (In Russian).
- Novik E. S., *Obryad i folklor v sibirskom shamanizme: opyt sopostavleniya struktur* [Ritual and Folklore in Siberian Shamanism: An Experience of Comparing Structures]. Moscow: Vostochnaya literatura, 2004, 304 pp. (In Russian).
- Ortner Sh. B., 'Theory in Anthropology since the Sixties', *Comparative Studies in Society and History*, vol. 26, 1984, no. 1, pp. 126–166.
- Oushakine S., 'Gender (naprokat): poleznaya kategoriya dlya nauchnoy karyery' [Gender (on Loan): A Useful Category for a Scientific Career], Muravyeva M. G. (ed.), *Gendernaya istoriya: pro et contra* [Gender History: Pro et Contra]. St Petersburg: Nestor, 2000, pp. 34–39. (In Russian).
- Oushakine S. (ed.), 'Transmediating Children's Books: An Archeology of Discarded Futures: A special cluster of essays', *The Russian Review*, 2021, vol. 80, no. 3, pp. 359–455.
- Oushakine S., 'V poiskakh mesta mezhdru Stalinym i Gitlerom: o postkolonialnykh istoriyakh sotsializma' [In Search of a Place Between Stalin and Hitler: On Postcolonial Histories of Socialism], *Ab Imperio*, 2011, no. 1, pp. 209–233. (In Russian).
- Oushakine S. (ed.), *Formalnyi metod: antologiya russkogo modernizma* [The Formal Method: An Anthology of Russian Modernism]: in 4 vols. Yekaterinburg: Kabinetnyy uchenyy, 2016–2023. (In Russian).
- Oushakine S., 'Figures of Depersonalization: Portraits without a Face and the Minsk School of Postcolonial Photography', *Antropologii / Anthropologies*, 2022, no. 1, pp. 77–135. doi: 10.33876/2782-3423/2022-1/77-135.
- Passeron J.-Cl., *Le raisonnement sociologique. L'espace non-poppérien du raisonnement naturel*. Paris: Nathan, 1991, 408 pp.
- Patel V., 'Republicans Target Social Sciences to Curb Ideas They Don't Like', *The New York Times*, 2004, 21 Nov. <<https://www.nytimes.com/2024/11/21/us/florida-social-sciences-progressive-ideas.html>>.
- Paulle B., van Heerikhuizen B., Emirbayer M., 'Elias and Bourdieu', *Journal of Classical Sociology*, 2012, vol. 12, no. 1, pp. 69–93. doi: 10.1177/1468795X11433708.
- Pesteil Ph., 'Le pied et le sang. Etude des représentations sexuelles à partir de trois légendes corses', Vincensini J.-J. (dir.), *Souillure et pureté*. Paris: Maisonneuve & Larose, 2003, pp. 85–100.

- Pesteil Ph., 'Svinovodstvo i miasnye delicately na Korsike: ot domashnego proizvodstva i potrebleniia k simvolyu mestnoi identichnosti' [Pig-Farming and Meat Delis in Corsica: From Household Production and Consumption to the Symbol of Local Identity], *Etnograficheskoe obozrenie*, 2019, no. 2, pp. 17–31. (In Russian).
- Pesteil Ph., *Pour une anthropologie de l'empreinte, approche cognitive et phénoménologique d'une forme*. Milan: Mimesis, 2024, 323 pp.
- Petitot J. (dir.), *Naturaliser la phénoménologie, Essais sur la phénoménologie contemporaine et les sciences cognitives*. Paris, CNRS Ed., 2002, 607 pp.
- Petitot J., *Morphologie et esthétique*. Paris: Maisonneuve & Larose, 2004, 374 pp.
- Pinchuk O., *Sboi i polomki: etnograficheskoe issledovanie truda fabrichnykh rabochikh* [Failures and Breakdowns: An Ethnographic Study of Factory Workers' Labour]. Moscow: Common Place, 2021, 208 pp. (In Russian).
- Pinfield S., 'Mega-journals: The Future, a Stepping Stone to It or a Leap into the Abyss?', *The Times Higher Education*, 2016, Oct. 13. <<https://www.timeshighereducation.com/blog/mega-journals-future-stepping-stone-it-or-leap-abyss>>.
- Pohl W., 'Telling the Difference: Signs of Ethnic Identity', Pohl W., Reimitz H. (eds.), *Strategies of Distinction: The Construction of Ethnic Communities*, 300–800. Boston: Brill, 1998, pp. 17–70.
- Pohl W., 'Strategies of Identification: A Methodological Profile', Pohl W., Heydemann G. (eds.), *Strategies of Identification: Ethnicity and Religion in Early Medieval Europe*. Turnhout: Brepols, 2013, pp. 1–64.
- Poincaré A., *O nauke* [On Science]. Moscow: Nauka, 1990, 736 pp. (In Russian).
- Pokrovskiy M. N., 'K voprosu ob osobennostyakh istoricheskogo razvitiya Ros-sii' [On the Question of the Specificities of Russia's Historical Development], *Istoricheskaya nauka i borba klassov* [Historical Science and Class Struggle]. Moscow; Leningrad: Gos. sots.-ekonom. izd-vo, 1933, pp. 206–247. (In Russian).
- Polterovich V. M., 'Krizis ekonomicheskoy teorii' [The Crisis of Economic Theory], *Ekonomicheskaya nauka sovremennoi Rossii*, 1998, vol. 1, pp. 46–66. (In Russian).
- Popper K. R., *Objective Knowledge: An Evolutionary Approach*. Oxford: Oxford University Press, 1972, 406 pp.
- Roginsky Y. Y., 'O prichinakh ischeznoveniya neandertaltsev' [About the Reasons of Neanderthals Disappearance], *Voprosi antropologii*, 1985, vol. 75, pp. 10–13. (In Russian).
- Rose D. B., 'Ekologiya i etika otnosheniy s okruzhayushchey sredoy u korennykh narodov Avstralii' [Indigenous Ecologies and Environmental Ethics: Situated Availability], *Etnograficheskoe obozrenie*, 2001, no. 2, pp. 41–52. (In Russian).
- Safarov G., *Kolonialnaya revolyutsiya: opyt Turkestana* [The Colonial Revolution: The Case of Turkestan]. Moscow: Gosizdat, 1921, 148 pp. (In Russian).
- Sahlins M., 'Poor Man, Rich Man, Big-Man, Chief: Political Types in Melanesia and Polynesia', *Comparative Studies in Society and History*, 1963, vol. 5, no. 3, pp. 285–303.

- Sahlins M., 'Two or Three Things that I Know about Culture', *The Journal of the Royal Anthropological Institute*, 1999, vol. 5, no. 3, pp. 399–421.
- Said E., *Orientalism*. New York: Pantheon Books, 1978, 368 pp.
- Said E., *Culture and Imperialism*. New York: Vintage Books, 1994, 416 pp.
- Salazkina M., *World Socialist Cinema: Alliances, Affinities, and Solidarities in the Global Cold War*. Oakland, CA: University of California Press, 2023, 388 pp.
- Sanchez-Sibony O., *Red Globalization: The Political Economy of the Soviet Cold War from Stalin to Khrushchev*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014, 294 pp.
- Sandomirskaja I., *Past discontinuous: fragmenty restavratsii* [Past Discontinuous: Fragments of Restoration]. Moscow: NLO, 2022, 520 pp. (In Russian).
- Scerri E. M. L., Thomas M. G., Manica A. et al., 'Did Our Species Evolve in Subdivided Populations across Africa, and Why Does It Matter?', *Trends in Ecology and Evolution*, 2018, vol. 33, no. 8, pp. 582–594. doi: 10.1016/j.tree.2018.05.005.
- Schayegh C., 'Settler Colonial Studies: A Historical Analysis', *Settler Colonial Studies*, 2024, vol. 14, no. 4, pp. 470–497.
- Schumpeter J. A., *Ten Great Economists: From Marx to Keynes*. London: Routledge, 1952, 306 pp.
- Schurtz H., *Altersklassen und Männerbünde, eine Darstellung der Grundformen der Gesellschaft*. Berlin: Druck und Verlag von Georg Reimer, 1902, 458 S.
- Scubla L., *Lire Levi-Strauss*. Paris: Odile Jacob, 1998, 337 pp.
- Scubla L., 'Parcours fondateur et pèlerinage aux sources. Note sur la construction mythico-rituelle de l'espace', *Visio: International Journal of Visual Semiotics*, 2001, vol. 6, no. 2–3, pp. 11–24.
- Sennett R., *The Conscience of the Eye: The Design and Social Life of Cities*. New York: Knopf, 1990, 266 pp.
- Shanin T., 'Ethnicity in the Soviet Union: Analytical Perceptions and Political Strategies', *Comparative Studies in Society and History*, 1989, vol. 31, no. 3, pp. 409–424. doi: 10.1017/s001041750001597.
- Shaw J., Hesse M., 'Transport, Geography and the "New" Mobilities', *Transactions of the Institute of British Geographers*, 2010, vol. 35, no. 3, pp. 305–312. doi: 10.1111/j.1475-5661.2010.00382.x.
- Shchavelev A. S., *Slavyanskije legendy o pervykh knjazjakh: Sravnitel'no-istoricheskoe issledovanie modeley vlasti u slavyan* [Slavic Legends about the First Princes: Comparative-Historical Study of the Models of Power of the Slavs]. Moscow: Severnyy palomnik, 2007, 271 pp. (In Russian).
- Shchavelev A. S., 'Steytogenez i pismennost (v razvitie kontseptsii byurokraticheskogo apparata kak klyuchevogo priznaka gosudarstva)' [Stato-genesis and Writing (In Development of the Concept of Bureaucratic Apparatus as a Key Feature of the State)], *Graphosphaera*, 2021, vol. 1, pp. 20–40. (In Russian).
- Shchavelev A. S., 'Narod rus' IX–X vv.: etnicheskaya identichnost i socialnaya differentsiatsiya' [The Rus' People of the 9th–10th Centuries: Ethnic identity and Social Differentiation], Bondarenko D. M., Aleksandrov G. V. (eds.), *Printsipy i formy socialnoy organizatsii: istoricheskie konteksty vzaimodeystviya* [Principles and Forms of Social Organization:

- Historical Contexts of Interaction]. Moscow: LRC Publishing House, 2024, pp. 135–169. (In Russian).
- Shchepanskaya T. B., *Sravnitel'naya etnografiya professiy: povsednevnye praktiki i kulturnye kody (Rossiya, konets XIX — nachalo XXI v.)* [Comparative Ethnography of Professions: Everyday Practices and Cultural Codes (Russia, Late 19th — Early 21st Century)]. St Petersburg: Nauka, 2010, 338 pp. (In Russian).
- Shennan S. J., *Genes, Memes and Human History: Darwinian Archaeology and Cultural Evolution*. London: Thames & Hudson, 2002, 304 pp.
- Shnirelman V. A., *V pogone za predkami: etnogenez i politika* [In Pursuit of Ancestors: Ethnogenesis and Politics]. Moscow; St Petersburg: Nestor-Istoriia, 2024, 624 pp. (In Russian).
- Silantyev I. V., *Poetika motiva* [Poetics of Motive]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kultury, 2004, 295 pp. (In Russian).
- Skalnik P., 'Chiefdom: A Universal Political Formation?', *Focaal: European Journal of Global and Historical Anthropology*, 2004, no. 43, pp. 77–98. doi: 10.3167/092012904782311434.
- Skalnik P., 'Sovetskaya "teoriya" etnosa i ee yuzhnoafrikanskaya parallel' [Soviet "Theory" of Ethnicity and Its South African Parallel], *Etnograficheskoe obozrenie*, 2006, no. 3, pp. 72–85. (In Russian).
- Slezkine Yu. L., *Dom pravitelstva: saga o russkoy revoliutsii* [The House of the Government: Saga of the Russian Revolution]. Moscow: AST; Corpus, 2019, 976 pp. (In Russian).
- Sokolov M., Titaev K., 'Provintsial'naya i tuzem'naya nauka' [Provincial and Indigenous Science], *Antropologicheskij forum*, 2013, no. 19, pp. 239–275. (In Russian).
- Sokolovskiy S. V., 'Publication Policy and Current Issues in the Development of Anthropological Research in Russia', *Herald of the Russian Academy of Sciences*, 2022, vol. 92, no. 1, pp. 88–95.
- Sperber D., 'Une pensée à l'orée des sciences cognitives', *Le Magazine Littéraire*, 2008, no. 475, pp. 70–71.
- Spivak G., 'Can the Subaltern Speak?', Nelson C., Grossberg L. (eds.), *Marxism and the Interpretation of Culture*. Urbana, IL: University of Illinois Press, 1988, pp. 271–313.
- Srinivasan P., *Sweating Saris: Indian Dance as Transnational Labor*. Philadelphia, PA: Temple University Press, 2012, 221 pp.
- Srinivasan R., *Courting Desire: Litigating for Love in North India*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2020, 197 pp.
- Steinberg M., 'O ponyatii modernosti' [On the Concept of Modernity], *Novoe literaturnoe obozrenie*, 2016, no. 140. <https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/140_nlo_4_2016/article/12050>. (In Russian).
- Stocking G., 'Franz Boas and the Culture Concept in Historical Perspective', *American Anthropologist*, 1966, vol. 68, no. 4, pp. 867–882.
- Strathern M., *The Gender of the Gift: Problems with Women and Problems with Society in Melanesia*. Berkley, CA; Los Angeles, CA; London: University of California Press, 1988, 422 pp.
- Testart A., *Principes de sociologie générale*. Paris: CNRS Éditions, 2021, t. 1, 616 pp.

- Thomas Z., 'Florida Removes Sociology From General Education, Bans State Funding for DEI Programs', *The Independent Florida Alligator*, 2024, Jan. 25. <<https://www.alligator.org/article/2024/01/florida-removes-sociology-from-general-education-bans-state-funding-for-dei-programs>>.
- Tikhonov V., "Dekolonizatsiya" istorii narodov SSSR v sovetskoy istoriografii (1920–1930) [The "Decolonization" of the History of the Peoples of the USSR in Soviet Historiography (1920–1930)], *Quaestio Rossica*, 2024, vol. 12, no. 1, pp. 193–208. (In Russian).
- Tilly C., 'War Making and State Making as Organized Crime', Evans P., Rueschemeyer D., Skocpol T. (eds.), *Bringing the State Back In*. Cambridge: Cambridge University Press, 1985, pp. 169–187.
- Tilly C., *Coercion, Capital, and European States, AD 990–1990*. Cambridge, MA: Blackwell, 1990, 271 pp.
- Tishkov V. A., *Rekviem po etnosu: issledovaniya po sotsialno-kulturnoy antropologii* [Requiem for an Ethnos: Research in Socio-Cultural Anthropology]. Moscow: Nauka, 2003, 544 pp. (In Russian).
- Tlostanova M., 'Can the Post-Soviet Think? On Coloniality of Knowledge, External Imperial and Double Colonial Difference', *Intersections: East European Journal of Society and Politics*, 2015, vol. 1, no. 2, pp. 38–58.
- Toporov V. N., 'Prostranstvo i tekst' [Space and Text], Tsivian T. V. (ed.), *Tekst: semantika i struktura* [Text: Semantics and Structure]. Moscow: Nauka, 1983, pp. 227–284. (In Russian).
- Toporov V. N., *Mif. Ritual. Simvol. Obraz: issledovaniia v oblasti mifopoeticheskogo. Izbrannoe* [Myth, Ritual, Symbol, Image: Research in the Field of the Mythopoetic: Selected Works]. Moscow: Progress — Kultura, 1995, 624 pp. (In Russian).
- Toporov V. N., 'Ob odnom iz paradoksov dvizheniya. Neskolko zamechaniy o sverkh-empiricheskom smysle glagola "stoyat", preimushchestvenno v spetsializirovannykh tekstakh' [About One of the Paradoxes of Movement. A Few Comments about the Supra-empirical Meaning of the Verb "stand", Exclusively in Specialized Texts], Agapkina T. A. (ed.), *Kontsept dvizheniya v yazyke i kulture* [The Concept of Movement in Language and Culture]. Moscow: Indrik, 1996, pp. 7–88. (In Russian).
- Tretyakov S., 'Biografiya veshchi' [Biography of a Thing], Chuzhak N. F. (ed.), *Literatura fakta: Pervyy sbornik materialov rabotnikov LEFa* [The Literature of Fact: The First Collection of Materials by the Workers of LEF]. Moscow: Federatsiya, 1929, pp. 68–72. (In Russian).
- Trigger B. G., *Understanding Early Civilizations: A Comparative Study*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, 757 pp.
- Tsing A. L., *Friction: An Ethnography of Global Connection*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005, XIV+321 pp.
- Tsing A. L., *The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins*. Princeton, NJ; Oxford: Princeton University Press, 2015. XII+331 pp.
- Tsivian T. V., *Semioticheskie puteshestviya* [Semiotic Travel]. St Petersburg: Izdatelstvo Ivana Limbakha, 2001, 247 pp. (In Russian).
- Urbinati N., *Me the People: How Populism Transforms Democracy*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2019, 273 pp.

- Urry J., *Mobilities*. Cambridge; Malden, MA: Polity Press, 2007, 335 pp.
- Vakhstain V. S., '[Replika v] Forum: Antropologiya i sotsiologiya' [Reply in Forum: Anthropology and Sociology], *Antropologicheskij forum*, 2012, no. 16, pp. 41–50. (In Russian).
- Valéry P., 'Au sujet du Cimetière marin', *La Nouvelle Revue Française*, 1933, Mars, no. 234, p. 399. <<https://www.lanrf.fr/products/la-nouvelle-revue-francaise-n-234-mars-1933>>.
- van der Tuin I., Verhoeff N., *Critical Concepts for the Creative Humanities*. Lanham: Rowman & Littlefield, 2022, 256 pp.
- Vdovchenkov E. V., "‘Nezamechennye revolyutsii’ v antropologii i arkeologiya, ili Pochemu arkeologi ne chitayut Bruno Latour" ["Unnoticed Revolutions" in Anthropology and Archaeology, or Why Archaeologists Don't Read Bruno Latour], *Antropologicheskij forum*, 2015, no. 24, pp. 37–43. (In Russian).
- Vitov M. V., 'O klassifikacii poselenii' [To the Classification of Settlements], *Sovetskaya etnografiya* [Soviet Ethnography], 1953, no. 3, pp. 31–37. (In Russian).
- Viveiros de Castro E., 'Cosmological Perspectivism in Amazonia and Elsewhere: Four lectures given in the Department of Social Anthropology, Cambridge University, February-March 1998', *HAU Masterclass Series*, 2012, vol. 1, 168 pp.
- Volkov V. V., *Silovoe predprinimatelstvo* [Power Entrepreneurship]. St Petersburg: EUSP Press, 2020, 360 pp. (In Russian).
- Voloshinov V. N., *Marksizm i filosofiya yazyka: osnovnye problemy sotsiologicheskogo metoda v nauke o yazyke* [Marxism and the Philosophy of Language: Fundamental Problems of the Sociological Method in the Science of Language]. Leningrad: Priboy, 1929, 188 pp. (In Russian).
- Weber F., *Brève histoire de l'anthropologie*. Paris: Flammarion, 2015, 354 pp.
- Wolf E., "They Divide and Subdivide, And Call It Anthropology", *The New York Times*, 1980, Nov. 30, section T.
- Yadrintsev N. M., *Sibir kak koloniya v geograficheskom, etnograficheskom i istoricheskom otnoshenii* [Siberia as a Colony in Geographical, Ethnographic, and Historical Terms]. St Petersburg: I. M. Sibiryakov's Publishing Housing, 1882, 471 pp. (In Russian).
- Yamakov A. N., 'Sistemy zhizneobespecheniya i hozyajstvenno-kulturnye tipy' [Life Support Systems and Economic-cultural Types], *Etnos i sreda obitaniya* [Ethnos and Habitat], 2017, no. 5: Issledovaniya sistem zhizneobespecheniya [Research of Life Support Systems], pp. 36–46. (In Russian).
- Yamakov A. N., 'Kontseptsii khozyaystvenno-kulturnykh tipov i istoriko-kulturnykh oblastey — vklad sovetskoy etnografii v kulturno-geograficheskoe rayonirovanie' [Concepts of Economic-Cultural Types and Historical-Cultural Regions — the Contribution of Soviet Ethnography to Cultural and Geographical Zoning], *Geograficheskaya sreda i zhivye sistemy* [Geographical Environment and Living Systems], 2023, no. 2, pp. 47–74. (In Russian).
- Zoh M., *The Impacts of Dictatorship on Heritage Management*. Vernon Press, 2020, XX+226 pp. (Series in World History).